Многие называют его крупнейшим из современных писателей. Мало найдется тех, кто в своих вещах у него не учился или ему не подражал.

Сьюзан Зонтаг



Хорхе Луис Борхес

Книга Песка

Книга Песка

Хорхе Луис Борхес

Аннотация
Хорхе Луис Борхес. Книга Песка
Сообщение Броуди
  Предисловие
  Непрошеная
  Недостойный
  История Росендо Хуареса
  Встреча
  Хуан Муранья
  Старшая сеньора
  Поединок
  Другой поединок
  Гуаякиль
  Евангелие от Марка
  Сообщение Броуди
Книга Песка
  Другой
  Ульрика
  Конгресс
  «There are more things»
  Секта тридцати
  Ночь даров

Зеркало и маска
Ундр
Утопия уставшего
Искушение
Авелино Арредондо
Диск
Книга Песка
Послесловие
Память Шекспира
Примечания

Аннотация

Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Тексты Борхеса, будь то художественная проза, поэзия или размышления, представляют собой своеобразную интеллектуальную игру – они полны тайн и фантастических образов, чьи истоки следует искать в литературах и культурах прошлого.

В настоящее издание вошли полностью два авторских сборника: «Сообщение Броуди» и «Книга Песка», а также изящный фантастический рассказ «Память Шекспира».

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Хорхе Луис Борхес
Книга Песка

Jorge Luis Borges
EL INFORME DE BRODIE
Copyright © 1995, María Kodama
EL LIBRO DE ARENA
Copyright © 1995, María Kodama
LA MEMORIA DE SHAKESPEARE
Copyright © 1995, María Kodama
All rights reserved

© Вс. Е. Багно, перевод, 1990, 2001
© Б. В. Дубин (наследник), перевод, примечания, 2021
© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2000
© Е. М. Лысенко (наследник), перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®

Сообщение Броуди

Предисловие

Большие вещи позднего Киплинга — это лабиринты и кошмары, которые не уступят романам Кафки и Джеймса, мало того, бесспорно их превзойдут; но намного раньше, году в тысяча восемьсот восемьдесят пятом, он взялся в Лахоре за серию бесхитростных коротких рассказов, а в тысяча восемьсот девяностом собрал их в книгу. Многие из них — «In the House of Suddhoo», «Beyond the Pale», «The Gate of the Hundred Sorrows»[1] — вещи, при всей краткости, мастерские. Но если это сумел придумать и сделать одаренный юноша, то почему бы — пришло мне однажды в голову — его находку, не впадая в нескромность, не повторить человеку, подступившему к границам старости и знающему свое ремесло? В результате возник этот том, судить о котором предоставляю читателям.

Я задумывал (получилось ли, не знаю) книгу рассказов без особых хитростей. Вместе с тем не рискну утверждать, что они просты, как не просты на земле ни одна страница, ни одно слово,

---

[1] Примечания: 1

«В доме Садху», «За оградой», «Врата Ста Печалей» (*англ.*).

поскольку подразумевают мир, чье самое очевидное свойство, по всей вероятности, — сложность. Об одном хотел бы предупредить: я не занимаюсь и никогда не занимался тем, что прежде называли баснословием или притчами, а сегодня именуют литературой идей. Роль Эзопа не по мне. Мои рассказы, как истории «Тысячи и одной ночи», стремятся увлекать и трогать, а не убеждать. Отсюда вовсе не следует, будто я затворился (как сказал бы царь Соломон) в башне из слоновой кости. Мои убеждения в том, что касается политики, вполне известны; я состою в Консервативной партии, иными словами, исповедую скептицизм, и никто еще не причислял меня к коммунистам, националистам, антисемитам и приверженцам Черного Муравья или Росаса. Думаю, со временем государство как таковое исчезнет. Своих взглядов я никогда, даже в самые трудные годы, не скрывал, но и не позволял им вторгаться в написанное, кроме единственного раза, когда восхищение событиями Шестидневной войны оказалось сильней меня. Однако занятия литературой — дело таинственное, намерения тут мало что значат, и прав скорее Платон, говоривший о Музе, чем По, убеждавший или пытавшийся убедить, будто писание стихов

подчиняется интеллектуальному расчету. Не перестаю удивляться тому, что классики стоят в этом вопросе на романтических позициях, тогда как поэт-романтик — на классических.

За исключением заглавного текста моей книги, явно восходящего к последнему путешествию Лемюэля Гулливера, остальные рассказы попадают, говоря новейшим языком, в категорию реалистических. Надеюсь, в них соблюдены все условности жанра, который не менее условен, чем прочие, и от которого так же быстро устаешь, если не устал уже давным-давно. Они, как положено, изощряются в придумывании деталей действия, блестящие примеры чего легко найти в англосаксонской балладе о Мэлдоне и позднейших исландских сагах. Два рассказа — не буду говорить какие — можно прочесть и в фантастическом ключе, он у них одинаковый. Некоторые сюжеты уже не раз донимали меня на протяжении многих лет; что поделаешь, я однообразен.

Общей фабулой рассказа «Евангелие от Марка», по-моему лучшего в книге, я обязан одному из снов Уго Рамиреса Морони; боюсь, я испортил дело добавками, которые нашли нужным внести в него моя фантазия или рассудок. В конце концов, литература — всего лишь управляемое

сновидение.

Я отказался от сюрпризов барочного стиля и тех, которые обыкновенно сулит внезапная развязка. В общем, я предпочел подготовить и ожидания читателей, и их удивление. Многие годы мне казалось, что с помощью вариаций и новшеств я когда-нибудь сумею написать хотя бы единственную безупречную страницу; к семидесяти годам я, кажется, нашел свой голос. Никакая работа над словом не ухудшит и не улучшит написанного, разве что несколько облегчит тяжеловесное рассуждение или чуть смягчит высокопарность. Каждый язык — это традиция, каждое слово — общий символ, и вклад любого новатора здесь ничтожен; вспомним блестящего, но чаще всего нечитаемого Малларме, вспомним Джойса. Впрочем, не исключено, что эти мои резоннейшие резоны — всего лишь результат усталости. Немалый возраст вынудил меня так или иначе смириться с участью Борхеса.

Храня беспристрастие, я оставляю без внимания и «Словарь Королевской академии», dont chaque édition, по меланхолическому заключению Груссака, fait regretter la précédente[2], и

[2] Примечания: 2
Каждое новое издание которого заставляет скорбеть о прежних (*фр.*).

неподъемные словари аргентинизмов. Все они, независимо от того, по какую сторону океана вышли, подчеркивают различия, а значит, разрушают испанский язык. Вспоминаю реплику Роберто Арльта, когда ему бросили в лицо, что он не знает лунфардо: «Я рос на Вилья Луро, среди бедняков и бандитов, у нас не было времени на эти штуки». В самом деле, лунфардо — это литературная забава, изобретенная авторами бульварных комедий и сочинителями танго; жителям окраин он неизвестен, разве что их просветили на сей счет граммофонные пластинки.

Действие моих рассказов происходит на некотором отдалении от нас — и во времени, и в пространстве. Так воображение чувствует себя свободней. Кто в тысяча девятьсот семидесятых годах с точностью вспомнит, какими были в конце прошлого века кварталы Палермо или Ломаса? И все же, как ни странно, находятся аккуратисты, которые с полицейской дотошностью выискивают микроскопические отклонения. Скажем, они замечают, что Мартин Фьерро говорит о сумке игральных костей, а не о мешке, и корят автора — скорей всего несправедливо — за розово-соловую масть прославленного коня.

Храни тебя Господь от длинных предисловий, читатель. Цитирую Кеведо, который, дабы не впасть в анахронизм, каковых и без того со временем обнаружат в избытке, никогда не читал предисловий Шоу.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 19 апреля 1970 г.

Непрошеная

2 Цар. 1: 26

Говорят (хотя вряд ли так было на самом деле), что эту историю слышали от Эдуардо, младшего из Нельсонов, в ночь, когда бодрствовали у гроба Кристиана, старшего, скончавшегося в тысяча восемьсот девяностых годах в округе Морон. Наверное, кто-то действительно рассказал ее в ту долгую печальную ночь, потягивая мате, а кто-то еще пересказал Сантьяго Дабове, от которого я ее знаю. Несколько лет спустя я снова услышал ее в Турдере — там, где она случилась. Вторая версия, несколько более подробная, в целом совпадала с рассказом Сантьяго — с небольшими и вполне обычными в таких случаях вариациями и расхождениями. Хочу записать ее, потому что, если я не обманываюсь, в ней сжато и трагично отразился нрав окраинных жителей старых времен. Постараюсь передать ее верно, хотя боюсь, что могу поддаться писательскому искушению что-то подчеркнуть или добавить какую-нибудь деталь.

В Турдере их звали Нильсенами. Приходской священник сказал мне, что его предшественник

однажды, не скрывая удивления, упомянул о потрепанной Библии в черном переплете с готическим шрифтом, которую видел в доме этих людей; на последних страницах он с трудом разобрал написанные от руки имена и даты. Это была единственная книга во всем доме. Случайная хроника семейства Нильсен, затерявшаяся, как теряется все. Большой нескладный дом, которого уже нет, был кирпичным, неоштукатуренным; из прихожей видны были два патио, одно выложенное цветной плиткой, другое — попросту земляное. Впрочем, там бывали немногие; Нильсены оберегали свое одиночество. В необжитых комнатах они спали на простых койках; роскошь братья видели в другом — конь, богатое седло, кинжал с коротким клинком, пышный наряд по субботам и забористая выпивка. Насколько мне известно, они были рослые, с рыжеватой шевелюрой. Дания или Ирландия, о которых они никогда не упоминали, оставила свой след в крови этих двух креолов. В квартале побаивались рыжих братьев; вполне вероятно, что на их совести была по крайней мере одна смерть. Однажды они плечом к плечу сражались против полиции. Говорят, что в стычке с Хуаном Иерроой младший из Нильсенов показал себя неплохим

бойцом, а это, по мнению людей сведущих, уже много. Они торговали скотом, умело управлялись с лошадьми, промышляли конокрадством и были заядлыми картежниками. Братья слыли скупыми во всем, что не касалось выпивки и игры. Ни об их родне, ни о том, откуда они появились, ничего не было известно. Нильсены владели повозкой и упряжкой волов.

Внешностью они отличались от своих дружков, в честь которых местность получила название Берег Удальцов. Это да еще то, чего мы не знаем, помогает понять, насколько они были едины. Поссориться с одним из них значило нажить себе двух врагов.

Нильсены были гуляки, но их любовные приключения до сих пор ограничивались случайными связями либо посещениями дома терпимости. Поэтому, когда Кристиан привел к себе в дом Хулиану Бургос, в квартале начались пересуды. Правда, ей отводилась роль служанки, но правда и то, что он покупал ей дешевые украшения и водил на гулянки, убогие гулянки по соседству, где драка и поножовщина запрещались и где танцы все еще были в радость. Хулиана была смугла лицом, с широко распахнутыми глазами, стоило только взглянуть на нее, как она улыба-

лась. В небогатом квартале, где женщины быстро старятся от непосильного труда, она казалась красоткой.

Сначала Эдуардо ходил вместе с ними. Потом поехал в Арресифес, по каким делам, мне неизвестно, и вернулся с девушкой, которую подобрал по дороге, а через несколько дней бросил ее. Он сделался угрюм. В альмасене напивался в одиночку, ни с кем не общался. Он был влюблен в женщину Кристиана. В квартале, где, скорее всего, это поняли раньше, чем он сам, злорадно наблюдали за тайным соперничеством братьев.

Однажды, вернувшись поздно вечером из альмасена, Эдуардо увидел у коновязи вороного коня Кристиана. Старший брат в своем лучшем наряде ждал младшего в патио. Появилась женщина, принесла мате и исчезла. Кристиан сказал:

— Я собираюсь на пирушку к Фариасу. Вот тебе Хулиана; если хочешь, пользуйся.

Это был не то приказ, не то дружеский совет. Эдуардо какое-то время смотрел на брата, не зная, как быть. Кристиан поднялся, попрощался с Эдуардо, не с Хулианой — она была вещью, — вскочил на коня и не спеша поехал рысцой.

С этой ночи они делили ее. Никто не знал подробностей этого непристойного союза, оскорб-

лявшего нравы слободы. Договор просуществовал несколько недель, но дольше так продолжаться не могло. В разговорах друг с другом братья не произносили имени Хулианы, они даже не обращались к ней по имени, но все время искали и находили поводы для разногласий. Они могли спорить по поводу продажи кож, хотя дело было вовсе не в этом. Кристиан обычно повышал голос, и Эдуардо смолкал. Они ревновали, сами того не сознавая. В этих суровых краях мужчина не говорит, что какая-то женщина что-то значит для него, женщину можно желать и можно обладать ею, но оба брата были влюблены. И это каким-то образом унижало их.

Однажды вечером на площади Ломас Эдуардо столкнулся с Хуаном Иберрой, который поздравил его с тем, как он ловко устроился. Видимо, именно тогда Эдуардо ранил его. Никто при нем не смеет насмехаться над Кристианом.

Женщина повиновалась братьям с животной покорностью, но все же предпочитала младшего, который хотя и не мог не пользоваться сложившейся ситуацией, но она его смущала.

Как-то раз Хулиане приказали принести два стула в первое патио и не показываться там, потому что братья должны поговорить. Она подумала,

что разговор продлится долго, и прилегла поспать во время сиесты, но ее тут же разбудили. Приказали собрать в мешок все ее добро, в том числе стеклянные четки и крестик, которые достались ей от матери. Ничего не объясняя, ее посадили в повозку и в угрюмом молчании тронулись в путь. Шел дождь; дорогу развезло, они добрались до Морона около пяти утра. Там Хулиану продали хозяйке дома терпимости. Договор существовал заранее; Кристиан взял деньги, потом разделил их с братом.

В Турдере Нильсены, до того времени поглощенные хитросплетениями (уже привычными) этой чудовищной любви, пытались возобновить прежнюю жизнь мужчин среди мужчин. Они вернулись к игре на бильярде, дракам, снова участвовали в пирушках. Иногда братьям казалось, что все позади, но каждый из них то и дело отлучался — по каким-то важным причинам или вовсе без причины. Незадолго до конца года младший объявил, что у него дела в столице. Кристиан поехал в Морон; у коновязи знакомого дома он увидел солового коня Эдуардо. Вошел; брат дожидался своей очереди. Кристиан, кажется, сказал:

— Если так пойдет, мы загоним коней. Пусть

уж лучше она будет под рукой.

Переговорил с хозяйкой, достал монеты из пояса, и они увезли ее. Хулиана ехала со старшим братом, а Эдуардо пришпоривал своего солового, чтобы не видеть их.

Все пошло по-прежнему. Постыдное решение потерпело крах; обоим братьям пришлось обманывать друг друга. Дух Каина витал в доме, но любовь братьев друг к другу была велика — кто знает, какие трудности и опасности им пришлось преодолеть! — и они предпочитали отводить душу на чужих. На незнакомце, на собаках, на Хулиане, которая и была виновницей раздора.

Март подходил к концу, стояла жара. Однажды в воскресенье (по воскресеньям люди обычно расходятся рано) Эдуардо, вернувшись из альмасена, увидел, что Кристиан запрягает волов. Кристиан сказал ему:

— Пошли, нужно отвезти кожи к Пардо, я уже погрузил их, поедем по холодку.

Магазин Пардо был, как мне кажется, несколько к югу; они поехали по дороге к Тропас, потом свернули. В сумерках равнина казалась огромной.

Они ехали по краю жнивья. Кристиан бросил дымившуюся сигару и неторопливо произнес:

— За работу, брат. Потом нам помогут хищные птицы. Сегодня я убил ее. Пусть остается здесь со всем своим добром. Больше от нее вреда не будет.

Они обнялись, чуть не плача. Теперь их связывали новые узы: женщина, с горечью принесенная в жертву, и необходимость забыть ее.

Недостойный

Наше представление о городе всегда несколько анахронично: кафе успело выродиться в бар, а подъезд, сквозь арки которого можно было разглядеть внутренние дворики и беседку, превратился в грязноватый коридор с лифтом в глубине. Так, я несколько лет считал, что в определенном месте улицы Талькауано меня ждет книжный магазин «Буэнос-Айрес», но однажды утром убедился, что его сменила антикварная лавка, а дон Сантьяго Фишбейн, прежний владелец, умер. Он был довольно толстым… Я помню не столько черты его лица, сколько наши долгие разговоры. Уравновешенный и основательный, он имел обыкновение порицать сионизм, который превращает еврея в человека заурядного, привязанного к одной традиции и одной стране, лишенного тех сложностей и противоречий, которые сейчас обогащают его. Это он сказал мне, что готовится довольно полное издание работ Баруха Спинозы, без всей этой евклидовой терминологии, затрудняющей чтение и придающей фантастической теории мнимую строгость. Он показывал, но не захотел продать мне любопытный

экземпляр «Приоткрытой каббалы» Розенрота, однако на некоторых книгах Гинзбурга и Уэйта из моей библиотеки стоит штамп его магазина.

Как-то вечером, когда мы сидели вдвоем, он поведал мне эпизод из своей жизни, который теперь можно пересказать. Я лишь изменю, как можно догадаться, некоторые подробности.

«Я собираюсь рассказать вам историю, которая не известна никому. Ни Ана, моя жена, и никто из самых близких друзей не знают ее. Это произошло так давно, что будто и не со мной. Вдруг эта история пригодится для рассказа, в котором у вас, несомненно, без кинжалов не обойдется. Не помню, говорил ли я вам когда-нибудь, что я из провинции Энтре-Риос. Не скажу, что мы были евреи-гаучо, гаучо-евреев не бывает вовсе. Мы были торговцами и фермерами. Я родился в Урдинарраине, который почти не сохранился в моей памяти; когда мои родители перебрались в Буэнос-Айрес, чтобы открыть лавку, я был совсем мальчишкой. Неподалеку от нас находился квартал Мальдонадо, дальше шли пустыри.

Карлейль писал когда-то, что люди не могут жить без героев. Курс истории Гроссо предлагал мне культ Сан-Мартина, но я видел в нем лишь военного, который когда-то воевал в Чили, а те-

перь стал бронзовым памятником и названием площади. Случай столкнул меня с совсем иным героем — с Франсиско Феррари, к несчастью для нас обоих. Должно быть, вы слышите это имя впервые.

Хотя наш квартал не пользовался сомнительной славой, как Корралес и Бахо, но и здесь в каждом альмасене была своя компания завсегдатаев. Заведение на углу Триумвирата и Темзы было излюбленным местом Феррари. Там-то и произошел случай, сделавший меня одним из его приверженцев. Я собирался купить четвертушку чая. Появился незнакомец с пышной шевелюрой и усами и заказал можжевеловой водки. Феррари мягко спросил его:

— Скажи-ка, не с тобой ли мы виделись позавчера вечером на танцах у Хулианы? Ты откуда?

— Из Сан-Кристобаля, — отвечал тот.

— Мой тебе совет, — проникновенно продолжал Феррари, — больше сюда не ходи. Здесь есть люди непорядочные, как бы они не устроили тебе неприятности.

И тот, из Сан-Кристобаля, убрался вместе со своими усами. Возможно, он был не трусливей Феррари, но понимал, что здесь своя компания.

С этого вечера Феррари стал тем кумиром, ко-

торого жаждали мои пятнадцать лет. Он был темноволос, высок, хорошо сложен, красив — в стиле того времени. Одевался всегда в черное. Другой случай свел нас. Я шел по улице с матерью и теткой. Мы поравнялись с компанией подростков, и один из них громко сказал:

— Дайте пройти этим старухам.

Я не знал, что делать. Тут вмешался Феррари, который вышел из дома. Он встал перед заводилой и сказал ему:

— Если тебе надо привязаться к кому-нибудь, давай лучше ко мне.

Они ушли гуськом, друг за другом, и никто не произнес ни слова. Они знали его.

Он пожал плечами, поклонился нам и пошел дальше. Перед тем как уйти, он обратился ко мне:

— Если ты свободен, приходи вечером в забегаловку.

Я остолбенел. Сара, моя тетка, изрекла:

— Вот кабальеро, который относится к женщинам с почтением.

Мать, чтобы выручить меня, заметила:

— Вернее было бы назвать его парнем, которому не хочется походить на других.

Я не знаю, как объяснить происшедшее. Сейчас

я нажил кое-какое состояние, у меня магазин и книги, которые мне нравятся, мне доставляют радость дружеские связи, подобные нашей, у меня жена и дети, я вступил в социалистическую партию, я порядочный аргентинец и порядочный еврей. Я уважаемый человек. Вы видите, я почти лыс, а тогда я был бедным рыжим пареньком с окраины. Люди смотрели на меня свысока. Как и все в юности, я старался быть похожим на остальных. Я стал называть себя Сантьяго, чтобы не быть Якобом, но остался Фишбейном. Мы кажемся себе такими, какими видят нас другие. Я ощущал презрение окружающих и сам презирал себя. В те времена и особенно в той среде много значило быть храбрым, я же считал себя трусом. Женщины внушали мне робость, я втайне стыдился своего вынужденного целомудрия. Друзей-ровесников у меня не было.

Я не пошел в альмасен в тот вечер. И лучше бы не ходил совсем. Но постепенно мне стало казаться, что приглашение было приказом; в субботу после обеда я вошел в зал.

Феррари сидел во главе одного из столов. Остальных, их было человек семь, я встречал раньше. Феррари был старшим, если не считать старого человека, неразговорчивого, с усталым

голосом, чье имя единственно уцелело в моей памяти: дон Элисео Амаро. Шрам пересекал его лицо, широкое и обрюзгшее. Потом мне сказали, что он побывал в тюрьме.

Феррари усадил меня по левую руку; дону Элисео пришлось подвинуться. Мне было не по себе. Я опасался, что Феррари может упомянуть о том неприятном случае. Ничего подобного; они говорили о женщинах, о карточной игре, о выборах, о певце, который должен был выступать, но не приехал, о событиях в квартале. Поначалу им было трудно принять меня, но потом они привыкли, потому что этого хотел Феррари. Хотя фамилии их были по большей части итальянские, каждый считал себя (и его считали) креолом и даже гаучо. Кое-кто из них был возчиком или работал на бойне; общение с животными делало их похожими на крестьян. Подозреваю, что самым заветным желанием каждого было стать вторым Хуаном Морейрой. В конце концов они дали мне прозвище Рыжий, но в нем не было презрения. У них я выучился курить и многому другому.

В одном доме на улице Хунин меня как-то спросили, не друг ли я Франсиско Феррари. Я сказал, что нет, сочтя утвердительный ответ похвальбой.

Однажды явились полицейские и обыскали нас. Некоторым пришлось идти в комиссариат; Феррари не тронули. Недели через две повторилось то же самое, но на этот раз увели и Феррари, потому что у него за поясом был нож. А может быть, он потерял расположение местного начальства.

Сейчас я вижу в Феррари бедного юношу, которого обманули и предали; тогда он казался мне Богом.

Дружба не менее таинственна, чем любовь или какое-нибудь другое обличие путаницы, именуемой жизнью. Мне однажды пришло в голову, что нетаинственно только счастье, потому что оно служит оправданием само себе. Дело было в том, что Франсиско Феррари, смелый и сильный, питал дружеские чувства ко мне, изгою. Мне казалось, что произошла ошибка и что я недостоин этой дружбы. Я пытался уклониться, но он не позволил. Мое смятение усугублялось неодобрением матери, которая не могла примирить мои поступки с тем, что она именовала моралью и что вызывало у меня насмешку. Главное в этой истории — мои отношения с Феррари, а не совершенная подлость, в которой я сейчас и не раскаиваюсь. Пока длится раскаяние, длится

вина.

Старик, который снова сидел рядом с Феррари, о чем-то тихо с ним говорил. Они что-то замышляли. Со своего места за столом я, кажется, разобрал имя Вайдеманна, чья ткацкая фабрика находилась неподалеку от нашего квартала. Вскоре мне без всяких объяснений было велено обойти кругом фабрики и хорошенько изучить все входы. Вечерело, когда я перешел ручей и железнодорожные пути. Мне вспоминаются одиночные дома, заросли ивняка и пустыри. Фабрика была новая, но выглядела заброшенной и стояла на отшибе; красный цвет ее стен сливается в моей памяти с закатным небом. Вокруг фабрики шла ограда. Кроме главного входа, было еще две двери на южной стороне, которые вели прямо в помещения.

Должен признаться, я поздно понял то, что вам уже ясно. Мои сведения о фабрике подтвердил один из парней, у которого там работала сестра. Отсутствие компании в альмасене в субботу вечером не осталось бы незамеченным, и Феррари решил, что налет произойдет в следующую пятницу. Мне досталось караулить. Пока нас не должны были видеть вместе. Когда мы оказались на улице вдвоем, я спросил Феррари:

— Ты доверяешь мне?

— Да, — ответил он. — Я знаю, ты поведешь себя достойно мужчины.

Я спокойно спал и эту ночь, и после. В среду я сказал матери, что поеду в центр смотреть новый ковбойский фильм. Я оделся в самое лучшее, что у меня было, и отправился на улицу Морено. Трамвай тащился долго. В полицейском управлении мне пришлось ждать, пока наконец один из служащих, некий Эальд или Альт, не принял меня. Я сказал, что пришел с секретным сообщением. Он ответил, что я могу говорить смело. Я раскрыл ему, что задумал Феррари. Меня удивило, что это имя ему незнакомо; не то что имя дона Элисео.

— А! — сказал он. — Этот из шайки квартала Ориенталь.

Он позвал другого офицера, ответственного за наш район, и они стали совещаться. Один из них не без издевки спросил:

— Ты пришел донести, потому что считаешь себя порядочным гражданином?

Я почувствовал, что он не поймет меня, и ответил:

— Да, сеньор. Я порядочный аргентинец.

Мне велели выполнять то, что было поручено, но не свистеть при виде приближающихся

полицейских. Прощаясь, один из офицеров предостерег меня:

— Будь осторожен. Знаешь, что бывает с теми, кто стукнет.

Полицейские развлекались со мной, как школьники. Я ответил:

— Пускай бы меня убили. Это было бы лучше всего.

С рассвета пятницы я чувствовал радость, что настал решающий день, и угрызения совести, оттого что не ощущал угрызений совести. Время тянулось долго. Я почти ничего не ел. В десять вечера мы все вместе пошли к кварталу, где находилась злополучная фабрика. Одного из нас не было; дон Элисео заметил, что всегда кто-нибудь подведет. Я подумал, что после во всем обвинят того, кто не пришел. Только что кончился дождь. Я боялся, что кто-нибудь станет со мной, но меня поставили одного у двери на южной стороне. Вскоре появились полицейские и с ними офицер. Они шли пешком, без лошадей, чтобы не привлекать внимания. Дверь была взломана, так что они смогли проникнуть внутрь без шума. Меня оглушили четыре выстрела. Я решил, что внутри, в темноте, они поубивали друг друга. Тут я увидел выходящих полицейских и парней в наручниках.

Потом двое полицейских проволокли прошитых пулями Франсиско Феррари и дона Элисео Амаро. На предварительном следствии говорилось, что они оказали сопротивление при аресте и первыми открыли огонь. Я знал, что это ложь, потому что никогда не видел у них револьвера. Полиция воспользовалась случаем свести старые счеты. Потом мне сказали, что Феррари пытался бежать, но одной пули оказалось достаточно. Газеты, разумеется, изобразили его героем, каким он, наверное, никогда не был и о каком я мечтал.

Меня забрали вместе с остальными и через некоторое время выпустили».

История Росендо Хуареса

Было одиннадцать вечера. Я вошел в альмасен на пересечении улиц Боливара и Венесуэлы, где теперь бар. Из угла меня окликнул человек. В его манере было что-то властное, во всяком случае, я сразу повиновался. Он сидел за одним из столиков перед пустой рюмкой, и я почему-то решил, что он здесь давно. Он был среднего роста, похож на простого ремесленника или крестьянина прежних времен. Его негустые усы были с проседью. Недоверчивый, как все столичные жители, он не расстался с шарфом. Он пригласил меня выпить. Я сел, и мы разговорились. Это было в тридцатые годы.

Человек сказал:

— Вы обо мне только слышали, но я-то вас знаю, сеньор. Я Росендо Хуарес. Покойный Паредес рассказывал вам обо мне. У старика были свои причуды; он любил приврать, и не затем, чтобы обмануть, а чтобы развлечь людей. Сейчас, когда нам обоим нечего делать, я расскажу, что на самом деле произошло в ту ночь. Ночь, когда был убит Резатель. Вы, сеньор, описали это в рассказе, которого я не в состоянии оценить, но хочу, чтобы

вы знали правду, а не только вранье.

Он помолчал, как бы припоминая, и продолжал:

— Бывают вещи, которые понимаешь с годами. То, что случилось в ту ночь, началось давно. Я вырос в квартале Мальдонадо, за Флорестой. Это никчемная дыра, которую, к счастью, почистили. Я всегда считал, что прогресса не остановить. Ну а где родиться — не выбираешь. Мне так никогда и не удалось узнать имени отца. Моя мать, Клементина Хуарес, достойная женщина, зарабатывала на хлеб глажением. Мне кажется, она была из Энтре-Риос или с востока, во всяком случае, она упоминала о родне в городке Консепсьон-дель-Уругвай. Я рос как трава. Выучился драться на палках. Тогда нам еще не нравился футбол, его считали английской выдумкой.

Однажды вечером в альмасене ко мне привязался парень, Гармендиа. Я не отвечал, но он был пьян и не отставал. Мы вышли; уже с тротуара он крикнул в приоткрытую дверь:

— Погодите, я сейчас вернусь!

Нож у меня был с собой; мы шли к берегу ручья, медленно, не спуская друг с друга глаз. Гармендиа был на несколько лет старше; мы не раз дрались, и я чувствовал, что он собирается прирезать меня.

Я шел по правой стороне проулка, он — по левой. Он споткнулся о кучу мусора. Только он покачнулся, я бросился на него не раздумывая. Я разбил ему лицо, мы сцепились; в такие минуты может случиться что угодно; в конце концов я ножом нанес ему удар, который оказался решающим. И только потом почувствовал, что он тоже поранил меня, легонько царапнул. В эту ночь я понял, что убить человека нетрудно, и еще узнал, как это делается. Ручей был далеко внизу; чтобы не терять времени, я спрятал убитого за кирпичной печью. По глупости я забрал перстень, который он обычно носил. Надел его, надвинул шляпу и вернулся в альмасен. Не спеша вошел и сказал:

— Похоже, что вернулся-то я.

Я заказал стакан водки, он был мне необходим. Тут кто-то обратил мое внимание на пятно крови.

Всю ночь я проворочался на раскладушке и не заснул до утра. Когда зазвонили к службе, за мной пришли двое полицейских. Покойная мама, бедняжка, расплакалась во весь голос. Они потащили меня, как преступника. Два дня и две ночи мне пришлось просидеть в одиночке. Никто не приходил навестить меня, только Луис Ирала, верный друг, но ему не дали разрешения. Как-то

утром полицейский инспектор велел привести меня. Он сидел развалясь на стуле и, не глядя на меня, спросил:

— Так это ты отправил на тот свет Гармендиа?

— Если вы так говорите… — ответил я.

— Меня следует называть «сеньор». Тебе нет смысла отказываться и запираться. Вот показания свидетелей и перстень, найденный у тебя дома. Подписывай сразу признание.

Он обмакнул перо в чернильницу и протянул мне.

— Дайте подумать, сеньор инспектор, — догадался я попросить.

— Я даю тебе двадцать четыре часа, чтобы ты подумал хорошенько в одиночке. И не буду тебя торопить. Если не образумишься, окажешься на улице Лас-Эрас.

Легко себе представить, что я не понял, что к чему.

— Если согласишься, просидишь всего несколько дней. Потом тебя выпустят, и дон Николас Паредес заверил меня, что уладит твое дело.

Дней оказалось десять. В конце концов они договорились со мной.

Я подписал, что они хотели, и один из охранников отвел меня на улицу Кабрера.

У коновязи стояли лошади, у дверей и внутри толпилось людей больше, чем в борделе. Это оказался комитет. Дон Николас, который пил мате, наконец принял меня. Не торопясь он объяснил, что пошлет меня в Морон, где идет подготовка к выборам. Он направлял меня на пробу к сеньору Лаферреру. Письмо написал юноша в черном, сочинявший стихи, в которых, как я услышал, речь шла о домах для престарелых и о гнусности, темах, не представляющих интереса для просвещенной публики. Я поблагодарил его и вышел. Стражник уже испарился.

Все вышло к лучшему. Провидение ведает, что творит. Смерть Гармендиа, которая поначалу так тяготила меня, теперь открывала мне путь. Конечно, власти держали меня в кулаке. Если бы я не служил партии, меня бы засадили, но я не жалел сил, и мне доверяли.

Сеньор Лаферрер предупредил меня, чтобы я вел себя как положено и что я стану его телохранителем. Я делал то, чего от меня ждали. В Мороне и позже, в квартале, я заслужил доверие начальства. Полиция и партия создали мне славу отчаянного; я играл важную роль на выборных подмостках столицы и провинции. Выборы прежде были недолгие. Мне не хочется вас утомлять,

сеньор, описанием кровавых происшествий. Я всегда терпеть не мог радикалов, которые все продолжают цепляться за своего Алема. Меня уважал каждый. Я завел женщину, Луханеру, и прекрасную рыжую, с красивым отливом лошадь. Годами я изображал Морейру, как в свое время каждый второй гаучо. Развлекался картами и полынной настойкой.

Мы, старики, как разболтаемся — не остановишь, но я приближаюсь к тому, о чем собирался рассказать. Не знаю, упоминал ли я уже о Луисе Ирале. Друге, каких мало. Он был уже в годах, но никакой работы не боялся и любил меня. И ни с какими комитетами в жизни не связывался. Зарабатывал на жизнь ремеслом столяра. Ни к кому не лез и не позволял никому лезть к себе. Однажды утром он зашел ко мне и сказал:

— Пришел рассказать тебе, что от меня ушла Касильда. Ее увел Руфино Агилера.

С этим типом я уже сталкивался в Мороне. Я ответил:

— Да я его знаю. Он не самый худший из семейства Агилера.

— Худший или нет, ему придется иметь дело со мной.

Я подумал и сказал:

— Никто у тебя ничего не отнял. Если Касильда ушла от тебя, значит она любит Руфино, а ты ей безразличен.

— А что скажут люди? Что я трус?

— Мой тебе совет: не впутывайся в историю из-за того, что могут сказать люди, и из-за женщины, которая уже не любит тебя.

— Мне до нее нет дела. Мужчина, который больше пяти минут думает о женщине, не мужчина, а тряпка. У Касильды нет сердца. В последнюю ночь, когда мы были вместе, она сказала, что я старею.

— Она сказала правду.

— Правда ранит. Кто мне сейчас нужен, так это Руфино.

— Смотри. Я видел его в деле на выборах в Мерло. Он смельчак.

— Думаешь, я боюсь?

— Я знаю, что ты не боишься, но подумай хорошенько. Одно из двух: либо ты убьешь и загремишь в тюрьму, либо он тебя убьет и ты отправишься на кладбище.

— Пускай! А как бы ты поступил на моем месте?

— Не знаю, но я примером служить не могу. Чтобы избежать тюрьмы, я сделался вышибалой

в комитете.

— Я не буду вышибалой ни в каком комитете, мне нужно расквитаться.

— Значит, ты станешь рисковать своим спокойствием из-за неизвестно кого и женщины, которую уже не любишь?

Он больше не слушал и ушел. На другой день стало известно, что он задел Руфино в магазине в Мороне и что Руфино убил его.

Он шел на смерть, и его убили, честно, один на один. Я дал ему дружеский совет, но чувствовал себя виноватым.

Через несколько дней после похорон я пошел на петушиные бои. Они мне никогда особо не нравились, но в это воскресенье было просто тошно. Проходя мимо этих птиц, я пожелал им лопнуть.

В ночь, о которой я рассказываю, вернее, в ночь, на которой мой рассказ кончается, я договорился с приятелями пойти на танцы у Парды. Сколько лет прошло, а я и сейчас помню цветастое платье моей подруги. Веселились под открытым небом. Не обошлось и без шумных пьяниц, но я позаботился, чтоб все шло, как Бог велит. Двенадцати не было, когда явились чужаки. Один, которого звали Резатель и который был предательски

убит той же ночью, заказал для всех выпивку. Ему хотелось воспользоваться случаем и показать, что мы с ним оба из одного теста. Но он что-то замышлял: подошел ближе и стал меня нахваливать. Сказал, что он с Севера, что туда дошли слухи обо мне. Я не мешал ему говорить, но начал подозревать неладное. Он не переставая пил можжевеловую, может быть, чтобы придать себе храбрости, и в конце концов вызвал меня драться. И тут случилось то, чего никто не хочет понять. В этом шальном задире я увидел себя, как в зеркале, и меня охватил стыд. Страха не было; если бы я боялся, наверное, полез бы в драку. Я остался стоять как ни в чем не бывало. Он, придвинувшись еще ближе, крикнул, чтобы всем было слышно:

— Вот и видно, что ты трус!

— Пускай, — сказал я. — Я не боюсь прослыть трусом. Можешь добавить, если нравится, что ты оскорбил мою мать и опозорил меня. Ну что, полегчало?

Луханера вытащила нож из-под жилета, я обычно носил его там, и в гневе вложила мне его в руку, сказав:

— Росендо, я думаю, он тебе понадобится.

Я бросил нож и не торопясь вышел. Люди в

изумлении расступались. Мне не было дела до того, что они думают.

Чтобы покончить с этой жизнью, я бежал в Восточную Республику, где стал возчиком. После возвращения поселился здесь. Сан-Тельмо всегда был тихим кварталом.

Встреча

Сусане Бомбаль

Пробегая утренние газеты, в них ищут забытья или темы для случайного вечернего разговора, поэтому стоит ли удивляться, что никто уже не помнит — а если и помнит, то как сон — о нашумевшем когда-то происшествии, героями которого были Манеко Уриарте и Дункан. Да и случилось это году в тысяча девятьсот десятом, году кометы и столетия Войны за независимость, а все мы с тех пор слишком многое обрели и потеряли. Обоих участников давно уже нет в живых; свидетели же торжественно поклялись молчать. Я тоже поднимал руку, присягая, и чувствовал важность этого обряда со всей романтической серьезностью своих девяти-десяти лет. Не знаю, заметили ли остальные, что я давал слово; не знаю, насколько они сдержали свое. Как бы там ни было, вот мой рассказ со всеми неизбежными отклонениями, которыми он обязан истекшему времени и хорошей (или плохой) литературе.

В тот вечер мой двоюродный брат Лафинур взял меня отведать жаркого в «Лаврах» — загородном

поместье кого-то из своих друзей. Не могу указать его точного расположения; пусть это будет один из тех зеленых и тихих северных пригородов, которые спускаются к реке и ничем не напоминают о громадной столице и окружающей ее равнине. Поезд шел так долго, что путь показался мне бесконечным, но, как известно, время для детей вообще течет медленней. Уже темнело, когда мы вошли в ворота поместья. Там, почудилось мне, все было древним, изначальным: аромат золотящегося мяса, деревья, собаки, хворост и объединивший мужчин костер.

Гостей я насчитал с дюжину, все — взрослые. Старшему, выяснилось потом, не было и тридцати. Каждый, как я вскоре понял, знал толк в предметах, на мой взгляд не стоивших серьезного разговора: скаковых лошадях, костюмах, автомобилях, дорогих женщинах. Никто не подтрунивал над моей робостью, меня не замечали. Барашек, мастерски и без суеты приготовленный одним из пеонов, надолго занял нас в просторной столовой. Поговорили о выдержке вин. Нашлась гитара; брат, помню, спел «Старый дом» и «Гаучо» Элиаса Регулеса, а потом — несколько десим на жаргоне, непременном лунфардо тех лет, о ножевой драке в заведении на улице Хунин. Принесли

кофе и сигары. О возвращении домой не было и речи. Я почувствовал (говоря словами Лугонеса) страх, что уже слишком поздно, но не решился посмотреть на часы. Чтобы скрыть свое одиночество ребенка среди взрослых, я без удовольствия проглотил бокал-другой. Уриарте громко предложил Дункану партию в покер один на один. Кто-то заметил, что это не слишком интересно, и убеждал сыграть вчетвером. Дункан согласился, но Уриарте с упорством, которого я не понял и не попытался понять, стоял на своем. Кроме труко, когда, по сути, коротают время за проделками и стихами, и незатейливых лабиринтов пасьянса, я не любил карт. Никем не замеченный, я выскользнул из комнаты. Незнакомый и сумрачный особняк (свет горел только в столовой) говорит ребенку больше, чем неведомая страна — путешественнику. Шаг за шагом я обследовал комнаты; помню бильярдный зал, галерею с прямоугольниками и ромбами стеклышек, пару кресел-качалок и окно, за которым виднелась беседка. В темноте я потерял дорогу; наконец на меня наткнулся хозяин дома, по имени, сколько теперь помню, что-то вроде Асеведо или Асеваль. По доброте или из коллекционерского тщеславия он подвел меня к застекленному шкафу. При

свете лампы блеснуло оружие. Там хранились ножи, побывавшие не в одной славной переделке. Он рассказал, что владеет клочком земли в окрестностях Пергамино и собрал все это, колеся по провинции. Открыв шкаф и не глядя на таблички, он поведал мне истории всех экспонатов, похожие одна на другую и различавшиеся разве что местом и временем. Я поинтересовался, нет ли среди них ножа Морейры, слывшего в ту пору образцом гаучо, как потом Мартин Фьерро и дон Сегундо Сомбра. Он ответил, что такого нет, но есть другой, не хуже, с полукруглой крестовиной. Вдруг послышались возбужденные голоса. Он мигом закрыл шкаф, я бросился за ним.

Уриарте вопил, что партнер шельмует. Остальные сгрудились вокруг. Дункан, помню, возвышался надо всеми, крепкий, сутуловатый, с бесстрастным лицом и светлыми, почти белыми волосами; Манеко Уриарте был юркий, темноголовый, вероятно, не без индейской крови, с жидкими задорными усиками. Все были заметно пьяны; не скажу, вправду ли на полу валялись две-три пустые бутылки, или эта мнимая подробность навеяна моей страстью к кино. Уриарте не замолкал, бранясь поначалу язвительно, а потом и непристойно. Дункан, казалось, не слы-

шал; в конце концов, словно устав, он поднялся и ткнул Уриарте кулаком. Очутившись на полу, Уриарте заорал, что не спустит обидчику, и вызвал Дункана на дуэль.

Тот отказался и прибавил, как бы оправдываясь:

— Дело в том, что я тебя боюсь.

Все расхохотались.

Уриарте, уже встав на ноги, отрезал:

— Драться, и сейчас же.

Кто-то — прости ему Бог — заметил, что оружие искать недалеко.

Не помню, кто открыл шкаф. Манеко Уриарте взял себе клинок поэффектнее и подлиннее, с полукруглой крестовиной; Дункан, почти не глядя, — нож с деревянной ручкой и клеймом в виде кустика на лезвии. Выбрать меч, вставил кто-то, вполне в духе Манеко: он любит играть наверняка. Никто не удивился, что в этот миг его рука дрогнула; все были поражены, когда то же произошло с Дунканом.

Традиция требует, чтобы решившие драться уважали дом, где находятся, и покинули его. То ли в шутку, то ли всерьез мы вышли в сырую ночь. Я захмелел, но не от вина, а от приключения; мне хотелось, чтобы на моих глазах совершилось

убийство и я мог рассказывать и помнить об этом. Кажется, в тот миг взрослые сравнялись со мной. И еще я почувствовал, как нас опрокинуло и понесло неумолимым водоворотом. Я не слишком верил в обвинения Манеко; все считали, что дело здесь в давней вражде, подогретой вином.

Мы прошли под деревьями, миновали беседку. Уриарте и Дункан шагали рядом; меня удивило, что они следят друг за другом, словно опасаясь подвоха. Обогнули лужайку. Дункан с мягкой решимостью уронил:

— Это место подойдет.

Двое замерли в центре. Голос крикнул:

— Бросьте вы эти железки, давайте врукопашную!

Но мужчины уже схватились. Сначала они двигались неуклюже, как будто боялись пораниться; сначала каждый смотрел на клинок другого, потом уже — только в глаза. Уриарте забыл свою вспыльчивость, Дункан — свое безучастье и презрение. Опасность преобразила их: теперь сражались не юноши, а мужчины. Я воображал себе схватку хаосом стали, но, оказалось, мог следить — или почти следить — за ней, словно это была шахматная партия. Конечно, годы подчеркнули или стерли то, что я тогда видел. Сколько

это длилось, не помню; есть события, которые не умещаются в привычные мерки времени.

Вместо пончо, которыми в таких случаях заслоняются, они подставляли ударам локти. Вскоре исполосованные рукава потемнели от крови. Пожалуй, мы ошибались, считая их новичками в подобном фехтовании. Тут я заметил, что они ведут себя по-разному. Оружие было слишком неравным. Чтобы сократить разрыв, Дункан старался подойти ближе; Уриарте отступал, нанося длинные удары снизу. Тот же голос, который напомнил о шкафе, прокричал:

— Они убьют друг друга! Разнимите их!

Никто не двинулся с места. Уриарте попятился. Дункан атаковал. Тела их почти соприкасались. Нож Уриарте тянулся к лицу Дункана. Вдруг, словно укоротившись, вошел ему в грудь. Дункан вытянулся в траве. И прошептал, почти выдохнул:

— Как странно! Точно во сне.

Он не закрыл глаз и не шелохнулся. Я видел, как человек убил человека.

Манеко Уриарте склонился над мертвым, прося у него прощения. Он плакал не скрываясь. То, что произошло, свершилось помимо него. Теперь я понимаю: он раскаивался не столько в злодея-

нии, сколько в бессмысленном поступке.

Смотреть на это не было сил. То, чего я так желал, случилось и раздавило меня. Потом Лафинур рассказывал, что им пришлось потрудиться, извлекая нож. Стали совещаться. Решили лгать как можно меньше и облагородить схватку на ножах, выдав ее за дуэль на шпагах. Четверо, включая Асеваля, предложили себя в секунданты. В Буэнос-Айресе все можно устроить: друзья есть везде.

На столе из каобы осталась куча английских карт и кредиток. Их не хотели ни трогать, ни замечать.

Позже я не раз подумывал довериться кому-нибудь из друзей, но снова чувствовал, насколько заманчивее владеть тайной, чем раскрывать ее. Году в тысяча девятьсот двадцать девятом случайный разговор вдруг подтолкнул меня нарушить долгое молчание. Отставной полицейский комиссар дон Хосе Олаве рассказывал мне о поножовщиках, заправлявших в низине Ретиро; этот народ, заметил он, не гнушался ничем, лишь бы одолеть соперника, но до Гутьерреса и братьев Подеста об открытых схватках здесь почти не слыхали. Я возразил, что был свидетелем одной из таких, и рассказал ему о событиях почти два-

дцатилетней давности.

Он слушал с профессиональным вниманием, а потом спросил:

— Вы уверены, что ни Уриарте, ни другой, как его там, раньше не брали ножа в руки? В конце концов, они могли чему-то научиться у себя в поместьях.

— Не думаю, — ответил я. — Все в тогдашней компании хорошо знали друг друга, но для всех это было полной неожиданностью.

Олаве продолжал, не спеша и словно размышляя вслух:

— Нож с полукруглой крестовиной… Прославились два таких ножа: Морейры и Хуана Альмады из Тапалькена.

Что-то ожило у меня в памяти. Дон Хосе добавил:

— Еще вы упомянули нож с деревянной ручкой и клеймом в виде кустика. Таких известны тысячи, но один… — Он на минуту смолк и потом продолжил: — Имение сеньора Асеведо находилось в окрестностях Пергамино. По тем местам бродил в конце века еще один известный задира, Хуан Альманса. С первого своего убийства — в четырнадцать лет — он не расставался с таким коротким ножом: тот приносил ему удачу. Хуан

Альманса и Хуан Альмада терпеть не могли друг друга, видно, потому, что их путали. Они долго искали встречи, но так и не сошлись. Хуана Альмансу убило шальной пулей на каких-то выборах. Другой, кажется, умер своей смертью на больничной койке в Лас-Флорес.

Больше мы не обменялись ни словом. Каждый думал о своем.

Девять-десять теперь уже мертвых мужчин видели то, что и я видел своими глазами, — клинок, вошедший в тело, и тело, простертое под небом, — но, оказывается, мы видели завершение совсем другой, куда более давней истории. Это не Манеко Уриарте убил Дункана: в ту ночь сражались не люди, а клинки. Они покоились рядом, в одном шкафу, пока руки не разбудили их. Наверно, они шевельнулись в миг пробужденья; вот почему задрожала рука Уриарте, вот почему задрожала рука Дункана. Они знали толк в сражениях — они, а не их орудие, люди, — и сражались в ту ночь как должно. Давным-давно искали они друг друга на длинных дорогах захолустья и наконец встретились, когда носившие их гаучо уже обратились в прах. В стальных лезвиях спала и зрела человеческая злоба.

Вещи переживают людей. И кто знает, завер-

шилась ли их история, кто знает, не приведется ли им встретиться снова.

Хуан Муранья

Много лет я не уставал повторять, что вырос в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это было попросту литературным хвастовством; на самом деле я вырос за железными копьями длинной решетки, в доме с садом и книгами моего отца и предков. Палермо ножей и гитар (уверяли меня) ютился в любой пивной, в 1930 году я посвятил специальную работу Эваристо Каррьего, нашему соседу, обожателю и певцу окраин. Вскоре случай столкнул меня с Эмилио Тра́пани. Я направлялся поездом в Морон; Трапани, сидевший у окна, окликнул меня по имени. Я не сразу узнал его: с тех пор как мы сидели за одной партой в школе на улице Темзы, прошел не один десяток лет. Его наверняка помнит Роберто Годель.

Мы никогда не были особенно близки. Время и взаимное безразличие развели нас еще дальше. Помню, он посвящал меня в начатки тогдашнего лунфардо. Завязался один из тех тривиальных разговоров, когда силишься извлечь из памяти бесполезные факты и обнаруживаешь, что твой одноклассник, в сущности, умер, оставив по себе

только имя. Неожиданно Трапани сказал:

— Мне дали прочесть твою книжку о Каррьего. Ты там все толкуешь о временах головорезов. Откуда тебе-то, Борхес, знать о головорезах?

Он посмотрел на меня с простодушным изумлением.

— Я изучал документы.

Он прервал:

— Документы — это слова. Мне документы ни к чему. Я знаю самих этих людей. — Минуту помолчав, он добавил, словно открывая секрет: — Я — племянник Хуана Мураньи.

Из поножовщиков Палермо девяностых годов Мураньа был самым известным. Трапани пояснил:

— Моя тетушка Флорентина была его женой. Это может тебя заинтересовать.

Прорывавшийся кое-где риторический пафос и некоторые слишком длинные фразы наводили на мысль, что он рассказывает свою историю не впервые.

— Матери всегда не нравилось, что сестра связала жизнь с Хуаном Мураньей: он так и остался для нее грубым животным, а для тети Флорентины был человеком действия. О его кончине ходили разные слухи. Иные уверяли, что как-то ночью,

мертвецки пьяный, он вывалился из своей коляски на углу улицы Коронель и размозжил голову о камень. Рассказывали еще, что его искала полиция и он бежал в Уругвай. Моя мать, никогда не переживавшая за своего зятя, ничего мне не объясняла. А я был еще мал и не помнил его.

В год столетнего юбилея мы жили в переулке Рассела, в длинном и тесном особняке. Черный ход, обычно закрытый на ключ, вел на улицу Святого Сальвадора. Тетушка, тогда уже в годах и со странностями, ютилась в комнатке наверху. Худая и ширококостная, она была — или казалась мне — очень рослой и чаще молчала. Не терпя свежего воздуха, тетя не покидала дома и не любила, когда входили к ней. Я не раз замечал, как она таскает и прячет пищу со стола. В квартале поговаривали, что после смерти или исчезновения Мураньи она слегка помешалась. Помню ее всегда в черном. Еще у нее была привычка разговаривать с собой.

Особняк принадлежал некоему сеньору Лучесси, хозяину цирюльни в районе Барракас. Мать шила на дому, но дела наши были плохи. Не понимая всего, я ловил произносимые шепотом слова «судебная повестка», «опись имущества», «выселение за неуплату». Мать впала в уныние,

а тетя упорно твердила: «Хуан не допустит, чтобы какой-то гринго вышвырнул нас на улицу». Каждый раз — мы уже знали это наизусть — она рассказывала, что произошло с одним наглецом из южных кварталов, который позволил себе усомниться в храбрости ее мужа. Узнав об этом, Муранья не пожалел времени, добрался до другого конца города, отыскал нахала, прикончил его ударом ножа и сбросил труп в Риачуэло. Был ли такой случай на самом деле, не знаю; важно, что его рассказывали и верили в него.

Засыпая, я уже видел себя беспризорником, ночующим на пустырях улицы Серрано, попрошайкой или разносчиком персиков. Последнее мне даже нравилось, поскольку освобождало от школьных занятий.

Не помню, сколько длились наши тревоги. Твой покойный отец как-то сказал при мне, что время не делится на дни, как состояние — на сентаво или песо: все песо одинаковы, тогда как любой день, а то и любой час — иные. Вряд ли я тогда понял, что он имел в виду, но фраза врезалась в память.

Однажды ночью я увидел сон, закончившийся кошмаром. Мне приснился дядя Хуан. Я не знал его, но воображал коренастым, с примесью

индейской крови, редкими усами и спутанной шевелюрой. Мы шли на Юг через каменоломни и бурьян, но и бурьян, и каменоломни были улицей Темзы. Солнце стояло высоко. Дядя Хуан был в черном. Он остановился перед какими-то мостками через расщелину. Руку он держал под пиджаком, у сердца, но как будто не вытаскивая, а, наоборот, пряча оружие. Печальным голосом он сказал: «До чего я переменился». Он вынул руку, и я увидел ястребиные когти. Я с криком очнулся в темноте.

Наутро мать приказала проводить ее к Лучесси. Я знал, что она идет просить отсрочки и, наверное, берет меня с собой, чтобы домохозяин увидел ее беззащитность. Сестре она не сказала ни слова: та ни за что бы не позволила ей так унижаться. Раньше я не бывал в Барракасе, мне казалось, что там куда многолюдней, больше лавок и меньше заброшенных участков. Повернув за угол, мы увидели возле нужного нам дома полицию и толпу. Переходя от группы к группе, один из местных рассказывал, что в три часа утра проснулся от стука; он слышал, как дверь дома открылась и кто-то вошел. Дверь осталась незапертой, а утром полуодетого Лучесси нашли лежащим в прихожей. Его закололи ножом. Он жил один, виновных не

обнаружили. В доме ничего не пропало. Кто-то вспомнил, что в последнее время убитый почти совсем ослеп. Другой веско добавил: «Видно, пришел его час». Слова и тон произвели на меня впечатление; с годами я убедился, что в таких случаях всегда отыскивается резонер, делающий подобное открытие.

Собравшиеся у гроба предложили нам кофе, я взял чашку. В ящике вместо покойника лежала восковая кукла. Я сказал об этом матери; один из присутствовавших улыбнулся и объяснил, что эта кукла в черном и есть сеньор Лучесси. Ошеломленный, я встал посмотреть. Матери пришлось дернуть меня за руку.

Долгие месяцы все вокруг ни о чем другом не говорили. Убийства в ту пору случались редко: вспомни, сколько шума поднялось из-за дела Мелены, Кампаны и Сильетеро. Единственным человеком в Буэнос-Айресе, кто и бровью не повел, была тетушка Флорентина. Со старушечьим упрямством она повторяла:

— Говорила я вам, что Хуан не позволит какому-то гринго выставить нас на улицу.

Однажды утром ливмя лил дождь. В школу я идти не мог и рыскал по дому. Так я попал наверх. Тетушка сидела сложив руки; казалось,

она отсутствует. Комнатка пропахла сыростью. В одном углу была железная кровать с четками, перекинутыми через спинку, в другом — деревянный сундук для платья. На беленой стене висела дешевая литография, изображавшая Богоматерь. На ночном столике торчал подсвечник.

Не поднимая глаз, тетушка сказала:

— Знаю, зачем ты пришел. Тебя послала твоя мать. Ей все невдомек, как это Хуану удалось нас спасти.

— Хуану? — растерялся я. — Хуан умер десять лет назад.

— Хуан здесь, — возразила она. — Хочешь посмотреть на него?

Она выдвинула ящик стола и достала нож. И уже помягчевшим голосом добавила:

— Вот он. Я знала: он меня не покинет. Второго такого не было на свете. Он не дал гринго и духа перевести.

И только тут я все понял. Эта жалкая, выжившая из ума старуха убила Лучесси. Одержимая ненавистью, безумием, а может быть, любовью, — кто знает? — она выбралась через черный ход, темной ночью одолела улицу, нашла наконец нужный дом и вот этими большими костлявыми руками воткнула нож. Нож был Мураньей, мерт-

вым, которого она по-прежнему боготворила.

До сих пор не знаю, открылась ли тетушка моей матери. Перед самым нашим выселением она умерла.

Здесь Трапани закончил свой рассказ. Больше мы не виделись. В истории этой женщины, вдовы, которая спутала своего мужа — своего тигра — с оставшейся от него вещью, орудием его жестокости, мне чудится некий символ. Человек по имени Хуан Муранья проходил когда-то по улицам моего детства, он познал то, что должен познать каждый, и в конце концов изведал вкус смерти, чтобы потом обратиться в нож, сегодня — в воспоминание о ноже, а завтра — в забвение, которого не избегнет никто.

Старшая сеньора

14 января 1941 года Марии Хустине Рубио де Хауреги исполнялось сто лет. Она была единственной из еще оставшихся детей борцов за Независимость.

Ее отец, полковник Мариано Рубио, был человеком, которого, без ущерба для его достоинства, можно назвать младшим Освободителем. Родившийся в приходе храма Мерсед, в семье скотоводов провинции Буэнос-Айрес, он был произведен в чин знаменосца Андской армии, сражался под Чакабуко, в проигранной битве в Канча-Раяда, в Майпу и спустя два года при Арекипе. Рассказывают, что накануне этого последнего боя Хосе де Олаварриа и он обменялись шпагами. В начале апреля 1823 года происходит знаменитая битва у Серро-Альто, которую, поскольку она разыгралась в долине, нередко называют также битвой у Серро-Бермехо. Венесуэльцы, постоянно завидующие нашей славе, приписывают победу генералу Симону Боливару, однако беспристрастный наблюдатель, аргентинский историк, не даст ввести себя в заблуждение — он твердо знает, что лавры этой победы принадлежат полковнику Мариано

Рубио. Именно он во главе полка колумбийских гусар решил неясный исход рукопашной, сабли и пики которой подготовили не менее знаменитую битву при Аякучо, где он также участвовал и был ранен. В 1827 году ему посчастливилось отличиться при Итусаинго под непосредственным командованием Альвеара. Несмотря на родство с Росасом, он был человеком Лавалье и однажды рассеял отряд «монтонеры» в бою, который обычно называл «сечей». После поражения унитариев эмигрировал в Восточное государство и там женился. Во время Великой войны он скончался в Монтевидео, осажденном «белыми» под командованием Орибе. Было ему тогда около сорока четырех лет, по тем временам почти старость. Он был другом Флоренсио Варелы. Вполне вероятно, что преподаватели Военного училища срезали бы его с первых же слов, — он прошел основательный курс сражений, но не сдал ни одного экзамена. У него остались две дочери, из которых у нас речь идет о младшей, Марии Хустине.

В конце 1853 года вдова полковника с дочками поселилась в Буэнос-Айресе. Конфискованное тираном поместье им не вернули, однако в семье хранилось воспоминание об утраченных и никогда не виденных землях. Мария Хустина сем-

надцати лет вышла замуж за доктора Бернардо Хауреги, который, хотя и был человеком штатским, участвовал в боях у рек Павон и Сепеда и погиб, исполняя свой профессиональный долг во время эпидемии желтой лихорадки. Он оставил сына и двух дочерей. Первенец Мариано служил налоговым инспектором и часто наведывался в Национальную библиотеку и в архив, мечтая написать подробную биографию деда-героя, но так и не завершил ее, а возможно, и не начал. Старшая из сестер, Мария Эльвира, вышла за кузена по фамилии Сааведра, чиновника Министерства финансов; младшая, Хулия, стала женой некоего сеньора Молинари, который, несмотря на итальянскую фамилию, преподавал латинский язык и был весьма образованным человеком. О внуках и правнуках я говорить не буду — достаточно, если у читателя составилось впечатление о семье почтенной и обедневшей, окруженной эпическим ореолом и возглавляемой родившейся на чужбине дочерью героя.

Они скромно жили в Палермо, невдалеке от церкви Святой Девы Гваделупской, в месте, откуда, как вспоминал Мариано, он из трамвая компании «Ла Гран Насьональ» видел воды лагуны, подходившие к кирпичным неоштука-

туренным домишкам, однако не к халупам из жестяных листов: прежняя бедность была менее бедной, нежели та, которую нам ныне преподносит индустриальный век. Да и состояния богачей были поменьше.

Семейство Рубио занимало верх двухэтажного дома над галантерейным магазином. Узкая боковая лестница вела в крытую галерею, продолжением которой была передняя, где стояла вешалка и несколько стульев. Из передней вы переходили в небольшую гостиную с мягкой мебелью, а из гостиной — в столовую с мебелью красного дерева и горкой. Сквозь металлические жалюзи, всегда опущенные для защиты от солнца, струился неяркий свет. Мне вспоминается какой-то особый запах старинных вещей. В глубине квартиры находились спальни, ванная, каморка с раковиной для стирки и комнатка прислуги. Во всей квартире не было иных книг, кроме томика Андраде, монографии о герое с рукописными дополнениями и испано-американского словаря Монтанера и Симона, приобретенного потому, что он продавался в рассрочку да еще со специальной полочкой. Семья существовала на пенсию, всегда запаздывавшую, и на арендную плату с земельного участка, единственного

остатка прежде обширного поместья в Ломас-де-Самора.

В то время, к которому относится мой рассказ, старшая сеньора жила с овдовевшей Хулией и ее сыном. Она по-прежнему проклинала Артигаса, Росаса и Уркису; первая европейская война, внушившая ей ненависть к немцам, о которых она очень мало знала, была для нее менее реальной, чем переворот девяностого года и атака у Серро-Альто. С 1932 года она постепенно угасала — обычные метафоры уместней всего, только они и правдивы. Разумеется, она была католичкой, но это не означает, что она верила в Единого Бога, который Один и в то же время Три, и даже в бессмертие души. Перебирая четки, она бормотала молитвы, которых не понимала. Рождество было для нее более важным праздником, чем Пасха и Поклонение волхвов, равно как чай она предпочитала мате. Слова «протестант», «иудей», «масон», «еретик», «атеист» были для нее синонимами, ничего конкретного не означающими. Пока могла говорить, она, по примеру своих родителей, называла испанцев «готами». В 1910 году никак не хотела поверить, что инфанта — в конце концов, особа королевской крови — вопреки всем предположениям говорит как обычная

галисийка, а не как аргентинская сеньора. Эту удручающую новость ей на похоронах зятя сообщила богатая родственница, которая никогда не бывала у нее в доме, но имя которой они жадно высматривали в светской хронике газет. Названия улиц сеньора де Хауреги всегда употребляла старые: она говорила об улице Артес, улице Темпле, улице Буэн-Орден, улице Пьедад, о двух Кальес-Ларгас, о площадях Парке и Портонес. Все домочадцы упорно держались этих архаизмов, и в их устах они звучали естественно. Вместо «уругвайцы» они говорили «восточные». Старшая сеньора не выходила из дому — вероятно, она не подозревала, что Буэнос-Айрес изменяется и растет. Первые впечатления — самые стойкие: город, который старшая сеньора представляла себе по ту сторону входной двери, наверняка был гораздо старше города тех лет, когда им пришлось переехать из центра. Тогда на площади Онсе отдыхали выпряженные из повозок быки, и в палисадниках Барракаса благоухали увядающие фиалки. «Я вижу во сне только покойников», — была одна из последних произнесенных ею фраз. Тупой ее никто бы не назвал, но, насколько мне известно, интеллектуальные радости были ей чужды — у нее оставались лишь те радости, ко-

торые доставляет память, а затем — забвение. Она всегда отличалась щедростью. Вспоминаю ее спокойные глаза и улыбку. Кто может знать, какие страсти бушевали в груди у этой старушки, когда она была молода и хороша собой. Она любила цветы, чья тихая, безмолвная жизнь походила на ее жизнь, и ухаживала за бегониями в своей комнате, трогала листья, уже не видя их. До 1929 года, когда она погрузилась в полузабытье, она рассказывала об исторических событиях, но всегда одними и теми же словами и в том же порядке, будто «Отче наш», и я подозревал, что эти слова уже не соответствуют истинной картине событий. К еде она была безразлична, ела, что подавали, и в целом была счастлива.

Как известно, сон — наиболее таинственное из наших состояний. Мы отдаем ему третью часть жизни, но не понимаем его. Для одних он всего лишь перерыв в бодрствовании, для других — более сложное состояние, охватывающее вчера, сегодня и завтра, для третьих — непрерывный ряд сновидений. Сказать, что сеньора де Хауреги провела десять лет в подобном тихом хаосе, было бы, пожалуй, неверно, — вероятно, каждое мгновение этих десяти лет виделось ей чистым настоящим, без «до» и «после». Не будем слиш-

ком удивляться такому настоящему, которое мы измеряем днями и ночами, и сотнями листков многих календарей, и нашими тревогами и делами, — подобное настоящее мы переживаем каждое утро перед пробуждением и каждый вечер, когда засыпаем. Все мы каждый день дважды уподобляемся старшей сеньоре.

Как мы могли убедиться, семья Хауреги находилась в несколько ложном положении. Они полагали, что принадлежат к аристократии, однако особы высшего света их игнорировали; они были потомками героя, однако учебники истории обычно не упоминали его. Правда, его имя носила одна из улиц, но улица эта, мало кому известная, терялась где-то за Западным кладбищем.

Торжественная дата приближалась. 10-го числа военный в мундире принес письмо, подписанное самим министром, с извещением о его предстоящем визите 14-го; письмо давали читать всем соседям, обращая их внимание на штамп министерства и подлинную подпись министра. Вскоре затем набежали репортеры, готовившиеся писать о событии. Им предоставили все данные — было очевидно, что они никогда не слыхали о полковнике Рубио. Малознакомые люди звонили по телефону, напрашиваясь на приглашение.

Семья усердно готовилась к великому дню. Натерли воском полы, вымыли окна, сняли чехлы с люстр, отполировали красное дерево и открыли пианино в гостиной, чтобы была видна бархатная полоска на клавиатуре. Все суетились, сновали туда-сюда. Единственным человеком, безразличным к суматохе, была сеньора де Хауреги — казалось, она ничего не понимала, только улыбалась. Хулия с помощью служанки вырядила ее, словно покойницу. Первое, что должны были увидеть посетители при входе, был написанный маслом портрет героя и, чуть ниже и правее, его сабля, побывавшая во многих сражениях. Даже в периоды безденежья семья отказывалась ее продать, намереваясь со временем передать в дар историческому музею. Одна из самых любезных соседок одолжила по такому случаю горшок с геранью.

Торжество назначили на семь часов. При этом предполагалось, что соберутся в половине восьмого, — ведь кому охота приходить раньше всех, «зажигать свечи». В десять минут восьмого еще никого не было, и домочадцы обсуждали плюсы и минусы непунктуальности. Эльвира, гордившаяся тем, что всегда приходит вовремя, сказала, что заставлять себя ждать — это непростительное

неуважение. Хулия, повторяя слова покойного мужа, возразила, что приходить чуть позже — это признак учтивости; если и гости, и хозяева не торопятся, всем удобнее. В четверть восьмого народу нахлынуло столько, что яблоку негде было упасть. Весь околоток мог с завистью смотреть на автомобиль сеньоры Фигероа и на ее шофера, и, хотя она никогда не приглашала к себе семейство Хауреги, встретили ее пылкими объятиями, чтобы никто не заподозрил, что видятся они раз в год по обещанию. Президент прислал своего помощника, весьма обходительного господина, сказавшего, что для него большая честь пожать руку дочери героя Серро-Альто. Министру надо было уехать пораньше, он произнес отменно остроумную речь, где, однако, больше говорилось о Сан-Мартине, нежели о полковнике Рубио. Старушка сидела в кресле, опираясь на подушки, и время от времени кивала и роняла веер. Хор знатных сеньор «Дамы Отечества» пропел ей гимн, который она, казалось, не слышала. Фотографы располагали присутствующих в живописные группы и не скупились на вспышки. Рюмки с портвейном и хересом не удовлетворили гостей. Откупорили несколько бутылок шампанского. Сеньора де Хауреги не произнесла ни слова —

возможно, она уже не понимала, кто она. После этого вечера она больше не вставала с кровати.

Когда чужие люди разошлись, домочадцы устроили маленький импровизированный холодный ужин. Ароматы сигар и кофе быстро заглушили легкий запах спиртного.

Утренние и дневные газеты честно врали: они превозносили почти сказочную память дочери героя, «которая является красноречивым архивом целого века аргентинской истории». Хулия попыталась показать ей эти заметки. Старая сеньора все так же неподвижно лежала в полумраке с закрытыми глазами. Жара не было, врач, осмотрев ее, заявил, что все в порядке. Через несколько дней она умерла. Нашествие толпы людей, непривычная суета, вспышки, речи, мундиры, бесконечные рукопожатия, выстрелы шампанского ускорили кончину. Возможно, ей чудилось, что это нагрянула «Масорка».

Я думаю о погибших у Серро-Альто, думаю о забытых воинах Америки и Испании, полегших под конскими копытами, думаю, что последней жертвой кровопролитного похода в Перу стала, через столетие, также одна престарелая сеньора.

Поединок

Хуану Освальдо Вивиано

Возможно, Генри Джеймсу — чей труд подарил мне одну из двух моих героинь, сеньору Фигероа, — эта история пришлась бы по вкусу. Он бы не пожалел для нее доброй сотни иронических, тонких страниц, наполненных сложными, расчетливо многозначными диалогами. Думаю, он внес бы в нее оттенок мелодрамы. Происходи случившееся в Лондоне или Бостоне, по сути, все было бы ровно так же. Но оно происходило в Буэнос-Айресе, там я его и оставлю. Коротко передам сам сюжет: постепенное развитие действия и его светская среда слишком далеки от моих литературных привычек. Так что диктовать этот рассказ для меня — что-то вроде скромного приключения, шаг в сторону. Должен предупредить читателя: эпизоды происходящего значат здесь куда меньше, чем общая ситуация и характеры героев.

Клара Гленкерн де Фигероа была горделивой, статной, огненно-рыжей. Больше догадливая, чем умная, она не столько обладала талантами

сама, сколько умела ценить их в другом и даже в другой. Всегда отличалась благожелательностью. Радовалась разнообразию, почему, вероятно, и любила путешествовать. Она понимала, что выпавшая ей жизнь — достаточно случайное сочетание обрядов и церемоний, но эти обряды были ей по душе, и она их с достоинством исполняла. Родители рано выдали ее за доктора Исидро Фигероа, который был нашим послом в Канаде, а затем отказался от должности, сочтя, что в эпоху телеграфа и телефона посольская служба — полный анахронизм и бессмысленный груз. Его поступок задел коллег; Кларе нравился климат Оттавы (в конце концов, по крови она была шотландкой), обязанности супруги посла ее тоже не тяготили, но ей и в голову не пришло спорить. Вскоре Фигероа умер. После нескольких лет замешательства и внутренних метаний Клара — возможно, по примеру своей подруги Марты Писарро — решила учиться живописи.

Главным в Марте Писарро было то, что для всех она оставалась сестрой блистательной Нелиды, которая была когда-то замужем, а теперь жила в разводе.

Прежде чем взяться за кисть, Марта Писарро подумывала о литературе. Она бегло владела

французским, на котором обычно читала; испанский оставался для нее подручным инструментом в домашних надобах, вроде гуарани для сеньор из провинции Корриентес. Газеты страницами предлагали местного Лугонеса и мадридца Ортегу-и-Гассета; стиль обоих мастеров укрепил Марту в подозрении, что предназначенный ей язык создан не столько для выражения мыслей и чувств, сколько для тщеславной трескотни. О музыке она знала лишь то, что известно любому аккуратному посетителю концертов. Родом из Сан-Луиса, она начала с заботливо написанных портретов Хуана Крисостомо Лафинура и полковника Паскуаля Принглеса, заблаговременно приобретенных тамошним музеем. От провинциальных светил Марта перешла потом к домам старого Буэнос-Айреса, чьи скромные дворики изображала скромными красками, избегая живописных сценических эффектов, к которым прибегали другие. Кто-то — насколько известно, не сеньора Фигероа — сказал, что в искусстве она идет от генуэзских мастеров девятнадцатого века. Между Кларой Гленкерн и Нелидой Сара (которая, по слухам, пользовалась некоторым вниманием доктора Фигероа) всегда существовало соперничество; может быть, Марта была лишь

оружием в их поединке.

Как известно, все события происходят за рубежом и только потом докатываются до нас. Секта живописцев, сегодня настолько несправедливо забытых, что никто не помнит, называли они свою манеру (демонстративно презирая логику и язык) конкретной или абстрактной, — не была исключением. Кажется, они стояли на том, что если музыке позволено творить свой мир чистых звуков, то и ее сестра-живопись вправе пользоваться цветом и формой, которые не ставят задачу воспроизводить то, что видит глаз. Ли Каплан писал, что его полотна, которые так возмущают буржуазию, чтят библейский, поддержанный позднее исламом запрет создавать руками человека подобия живых существ. Иконоборцы, убеждал он, восстанавливают подлинную традицию искусства живописи, извращенную еретиками вроде Дюрера или Рембрандта. В ответ противники обвиняли его в подражании таким образцам, как ковры, калейдоскопы и галстуки. Художественные революции соблазняют свободой и легкостью; Клара Гленкерн выбрала абстрактную манеру. Она всегда исповедовала культ Тёрнера и теперь решила обогатить конкретную живопись его смутными озарениями.

Трудилась она без спешки, многое отвергала, переписывала и в январе 1954 года выставила серию работ темперой в зале на улице Суипача, который, если прибегнуть к модной в ту пору военной метафоре, специализировался на авангарде. Произошла парадоксальная вещь: критика в целом встретила выставку благосклонно, а вот официальный рупор секты осудил эти ни на что не похожие формы, которые, хоть и не были фигуративной живописью, вызывали в памяти смятение облаков, леса или моря, но нимало не стремились к неумолимости окружностей и прямых. Первой этому приговору улыбнулась сама Клара. Она мечтала быть современной, но современники ее отвергли. Работа всегда интересовала ее больше, чем результат, поэтому она продолжала работать. Миновав этот эпизод, ее живопись шла своим путем.

В ту пору и начался тайный поединок. Марта живописью не ограничивалась; настойчиво интересуясь тем, что точней всего описывается словами «надзор над искусством», она была в так называемом Кружке Джотто помощником секретаря. К середине 1955 года она добилась очередной победы: давний член Кружка, Клара была введена в состав нового руководства с пра-

вом решающего голоса. Это происшествие, само по себе мелкое, не стоит упускать из виду. Марта всячески поддерживала подругу, но неоспоримый, хотя и загадочный факт состоит в том, что покровитель всегда так или иначе возвышается над своим ставленником.

В шестидесятом году за первую национальную премию боролись — да простят нам подобный жаргон — «две кисти международного уровня». Старший кандидат посвятил серию писанных маслом парадных полотен изображению ужасающих гаучо скандинавских статей; его достаточно молодой соперник снискал аплодисменты и возмущенные крики прилежной передачей невнятицы. Члены жюри, люди далеко за пятьдесят, побаивались, как бы их не заподозрили в старомодных вкусах, и уже было готовились проголосовать за второго, которого в глубине души не принимали. Упорные дебаты, начавшиеся с церемонной вежливости и закончившиеся взаимным отвращением, согласия не принесли. Дискуссия пошла на третий круг, и тут один из участников сказал:

— Б. никуда не годится; по-моему, это намного ниже той же сеньоры Фигероа.

— Предлагаете за нее проголосовать? — ехидно

спросил другой.

— А почему бы и нет? — отрезал выведенный из себя собеседник.

Тем же вечером премию единодушно присудили Кларе Гленкерн. Она была фигурой заметной, вызывала общую приязнь, отличалась безупречными моральными качествами и устраивала у себя на вилле Пилар праздничные приемы, фотографии которых появлялись потом в самых роскошных журналах. Подобающий премиальный ужин назначила и организовала Марта. Клара поблагодарила ее в нескольких вполне разумных словах, заметив, что традиция и новаторство, порядок и новизна не противостоят друг другу и что традицию ткут веками, переплетая новшества.

Каждый считает, что родился в неподходящем месте и что хорошо там, где нас нет. Культ гаучо и вздохи «Beatus ille»[3] рождены ностальгией горожан; Кларе и Марте опостылела рутина ничем не занятых будней, и они страстно тянулись к миру художников — существ, посвятивших жизнь созданию прекрасного. Подозреваю, что Блаженные на своих небесах вряд ли разделят столь высокую

---

[3] Примечания: 3
Блажен тот, кто… (*лат.*)

оценку собственных преимуществ, вынесенную богословами, никогда не бывавшими в их краю. Вероятно, грешники в аду тоже не всегда радуются своему уделу.

Два года спустя в Картахене открылся Первый международный конгресс мастеров изобразительных искусств Латинской Америки. От каждой республики выбирался один представитель. «Тематика встречи» — да простят нам еще раз подобный жаргон — предполагалась самая животрепещущая: может ли художник не чувствовать связь с почвой, вправе ли он забывать или обходить молчанием родную фауну и флору, вправе ли оставаться равнодушным к общественным проблемам, может ли не присоединить свой голос к тем, кто выступает против североамериканских империалистов, и т. д. и т. п. Прежде чем отправиться в Канаду, доктор Фигероа некоторое время исполнял дипломатическую миссию в Картахене; удовлетворенная премией Клара была бы рада вернуться в знакомые места, теперь уже в качестве художницы. Мечты не осуществились; правительство предпочло Марту Писарро. Ее пусть и не во всем убедительная речь во многих пассажах была, по нелицеприятному свидетельству буэнос-айресских корреспонден-

тов, блестящей.

Жизнь требует страсти. Обе женщины нашли ее в живописи или, вернее, в том, чем живопись их связала. Клара Гленкерн писала в борьбе с Мартой и в каком-то смысле для глаз Марты; каждая была судьей и единственным зрителем соперницы. На этих полотнах, которых никто не видел, обе, должен признать, с неизбежностью подражали друг другу. Важно не забывать, что они друг друга любили и все годы своего скрытого от чужих глаз соперничества оставались верны прежней дружбе.

В эти годы Марта, давно пережившая первую молодость, отвергла предложенный ей брак; ее целиком поглотил поединок.

Второго февраля 1964 года Клара Гленкерн скончалась от аневризмы. Газеты посвятили ей пространные некрологи из разряда тех, что приняты у нас в стране, где женщина не самостоятельная личность, а представительница рода. После сдержанного упоминания живописных пристрастий и тонкого вкуса покойной они принимались восхвалять ее благочестие, доброту, почти анонимную и неизменную филантропическую деятельность, патрицианское происхождение — генерал Гленкерн принимал

участие в Бразильской кампании — и особое место в самых аристократических кругах. Марта поняла, что ее жизнь разом лишилась смысла. Еще никогда она не чувствовала себя такой ненужной. Она вспомнила первые, теперь уже очень давние пробы кисти и выставила в Национальном салоне портрет Клары, написав его в сдержанной манере английских мастеров, которыми восхищались обе. Его признали лучшей работой Марты Писарро. Больше она к живописи не возвращалась.

В незаметном поединке, открытом лишь нескольким посвященным, не было ни поражений, ни побед, ни решающей схватки и вообще ни одного из тех ярких событий, которые следовало запечатлеть бы моему почтительному перу. Один Бог (чьих эстетических предпочтений мы не знаем) мог бы вручить здесь пальму первенства. История разворачивалась в темноте, в темноте она и завершилась.

Другой поединок

Немало времени прошло с тех пор, как сын уругвайского писателя Карлоса Рейлеса рассказал мне эту историю летним вечером в квартале Адроге. Длинная хроника ненависти и ее страшный конец слились у меня в памяти с аптечным запахом эвкалиптов и птичьими голосами.

Как всегда, мы говорили о перепутавшихся историях двух наших стран. Рейлес поинтересовался, не доводилось ли мне слышать о Хуане Патрисио Нолане, известном в свое время удальце, весельчаке и плуте. Солгав, я ответил, что слышал. Хотя Нолан скончался еще в девяностых годах, многие и по сей день дружески его вспоминали. Находились, впрочем, и недоброжелатели. Рейлес рассказал мне об одной из его бесчисленных каверз. Случай произошел незадолго до боя при Манантьялес, главными героями были двое гаучо из Серро-Ларго — Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра.

Как и отчего зародилась их ненависть? Как теперь, почти век спустя, воскресить смутную историю двух мужчин, от которых осталась в памяти только их последняя схватка? Управляю-

щий имением Рейлеса-отца, человек, носивший имя Ладереча и «усы тигра», восстановил по устным преданиям кое-какие детали, которые я и привожу здесь без особой уверенности, поскольку и забвение, и память равно изобретательны на выдумки.

Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра владели небогатыми участками по соседству. Истоки ненависти, как и других страстей, темны. Поговаривали не то о распре из-за неклейменого скота, не то о скачках, на которых Сильвейра, превосходя соперника силой, обошел лошадь Кардосо. Несколько месяцев спустя они долго резались один на один в труко за столиком местной пульперии; Сильвейра громко поздравлял противника с каждой взяткой, но в конце концов обыграл его подчистую. Убирая деньги в кожаный пояс, Сильвейра поблагодарил Кардосо за урок. Еще чуть-чуть — и дело, полагаю, дошло бы до рукопашной. Игра была жаркая, зрители, которых собралось немало, разняли партнеров. В здешних суровых краях по тем временам только так и жили — мужчина против мужчины, нож против ножа; однако в истории Кардосо и Сильвейры то и примечательно, что они, должно быть, не раз сталкивались на окрестных холмах и утром, и

вечером, но никогда не дрались до самого конца. Видимо, в убогой, примитивной жизни каждого не было ничего дороже этой ненависти, и оба заботливо копили ее. Сами того не подозревая, они стали рабами друг друга.

Рассказывая о дальнейших событиях, я не знаю, где здесь причины, а где следствия. Кардосо, не столько по любви, сколько для развлечения, сошелся с некоей Сервильяной, девицей, жившей по соседству; прослышав об этом, Сильвейра тоже приударил за ней, забрал к себе, а через несколько месяцев выгнал, чтобы не путалась под ногами. В бешенстве она кинулась искать защиты у Кардосо, но тот переспал с ней ночь, а утром распростился, гнушаясь чужими объедками.

Примерно тогда же, не помню, до или после Сервильяны, приключилась история со сторожевым псом. Сильвейра питал к нему слабость и звал, по числу основателей Уругвая, Тридцать Три. Пса нашли мертвым в канаве; Сильвейре не пришлось ломать голову, кто подсыпал яд.

Зимой семидесятого мятеж, поднятый Апарисио, застал их за картами в той же пульперии. Воззвав ко всем присутствующим, командир отряда повстанцев, бразилец-мулат, провозгласил, что они нужны родине и не станут больше

терпеть гнет властей, раздал белые кокарды и, окончив речь, которой никто не понял, погнал наших героев вместе с остальными. Их даже не отпустили проститься с семьями. Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра приняли это как должное: жизнь солдата мало чем отличалась от жизни гаучо. Спать на земле, положив под голову седло, они давно привыкли; рукам, запросто валившим быка, не составляло труда уложить человека. Не обладая воображением, они не чувствовали ни жалости, ни страха, хотя порой им случалось холодеть, идя в атаку. Лязг стремян и оружия, когда в дело вступает конница, услышит любой. Но, если сразу не ранят, потом ощущаешь себя неуязвимым. Тоски по дому они не знали. Идея патриотизма была им чужда, и, кроме кокард на тулье, ничто не связывало их ни с той ни с другой стороной. Скоро они наловчились орудовать пиками. В атаках и контратаках оба поняли, что можно быть соратниками и оставаться врагами. Сражаясь бок о бок, они, насколько известно, не перекинулись ни словом.

Душной осенью семьдесят первого пришел их конец. Короткий, меньше часа, бой завязался в одном из тех глухих углов, названия которых никто не знал (историки окрестили их гораздо позже).

Утром перед схваткой Кардосо на четвереньках пробрался в палатку командира и приглушенным голосом попросил в случае победы оставить ему кого-нибудь из колорадо, поскольку он в жизни не перерезал человеку горло и хочет узнать, каково это на деле. Офицер обещал не забыть, если в бою он покажет себя настоящим мужчиной.

Бланко подавляли числом, но колорадо были лучше вооружены и косили противника с холма. После двух безрезультатных бросков на вершину тяжелораненый командир бланко приказал своим сдаваться. В ту же минуту его, по собственной просьбе, прикончили ударом ножа.

Нападавшие сложили оружие. Капитан Хуан Патрисио Нолан, командовавший колорадо, продумал предстоящее уничтожение пленных до мельчайших деталей. Сам из Серро-Ларго, он знал о застарелой вражде Сильвейры и Кардосо. Приказав отыскать их, он объявил:

— Вы, я слышал, терпеть друг друга не можете и с давних пор ищете случая поквитаться. Считайте, вам повезло. Еще до заката у вас будет случай показать, кто из двоих настоящий мужчина. Вам перережут горло, а потом пустят наперегонки. Выигрыш — в руках Божьих.

Конвоир отвел их обратно.

Новость тут же облетела лагерь. Сперва Нолан распорядился устроить гонки по окончании вечерней акции, но пленные прислали делегата сообщить, что они тоже хотят быть зрителями и делать ставки на претендентов. Человек с понятием, Нолан пошел им навстречу. В заклад принимались деньги, сбруя, оружие, кони: они отходили вдовам и сиротам. Стояла редкая духота; начать условились в четыре, дабы никого не лишать сиесты. Верный латиноамериканской манере, Нолан продлил ожидание еще на час. Видимо, он обсуждал с остальными офицерами нынешнюю победу; вестовой с чайником мелькал туда и обратно.

По обе стороны пыльной дороги вдоль палаток тянулись ряды пленных со связанными за спиной руками, рассевшихся на земле, чтобы зря не трудить ноги. Некоторые облегчали душу бранью, другие повторяли «Отче наш», почти все выглядели оглоушенными. Курить, понятно, никто не мог. Было уже не до гонок, но все смотрели вперед.

— Скоро и меня прирежут, — с завистью вздохнул один.

— Да еще как, со всем гуртом вместе, — подхватил сосед.

— А то тебя по-другому, — огрызнулся первый.

Сержант провел саблей черту поперек дороги. Сильвейру и Кардосо развязали, чтоб свободней было бежать. Оба встали у черты шагах в пяти друг от друга. Офицеры призывали их не подвести, говоря, что на каждого надеются и поставили кучу денег.

Сильвейре выпало иметь дело с цветным по имени Нолан; видимо, его предки были рабами в поместье капитана и потому носили его фамилию. Кардосо достался профессионал, старик из Коррьентес, имевший обыкновение подбадривать осужденных, трепля их по плечу и приговаривая: «Ну-ну, парень, женщины и не такое терпят, а рожают».

Подавшись вперед, двое измученных ожиданием не смотрели друг на друга.

Нолан дал знак начинать.

Гордясь порученной ролью, цветной с маху развалил горло от уха до уха; коррьентинец обошелся узким надрезом. Из глоток хлынула кровь. Соперники сделали несколько шагов и рухнули ничком. Падая, Кардосо простер руки. Так, вероятно, и не узнав об этом, он выиграл.

Гуаякиль

Я не увижу, как вершина Игерота удваивается в водах Гольфо-Пласидо, не поеду в Западное государство и в библиотеке, которую, сидя в Буэнос-Айресе, я воображаю себе в различных видах и которая, конечно же, имеет свой определенный облик и свою сгущающуюся тень, я не сумею расшифровать письмо Боливара.

Перечитываю этот абзац, чтобы написать следующий, и сам удивляюсь его стилю, меланхоличному и торжественному. Видимо, невозможно говорить о той Карибской республике, не поддаваясь влиянию, пусть отдаленному, монументального стиля самого знаменитого ее историографа, капитана Юзефа Коженёвского, но в моем случае причина иная. Начальный абзац мне продиктовало подспудное желание придать патетическую тональность эпизоду несколько неприятному, но скорее незначительному. Расскажу о произошедшем со всей честностью — возможно, это мне поможет его понять. Вдобавок признание в поступке как бы превращает действующее лицо в свидетеля, в кого-то, кто наблюдает событие, повествует о нем и уже не

является его участником.

Этот случай произошел со мной в прошлую пятницу в этой же комнате, где я сейчас пишу, и в этот же вечерний час, только сегодня чуть более прохладно. Я знаю, всем нам свойственна склонность забывать неприятное, и потому хочу оставить в записанном виде свою беседу с доктором Эдуардом Циммерманом из Южного университета, прежде чем ее поглотит забвение. Пока еще воспоминание о ней очень свежо.

Чтобы мой рассказ был понятен, необходимо хотя бы вкратце напомнить о любопытной судьбе некоторых писем Боливара, извлеченных из архива доктора Авельяноса, чья «История полувека безвластия», считавшаяся утерянной при общеизвестных обстоятельствах, была обнаружена и опубликована его внуком, доктором Рикардо Авельяносом. Судя по отзывам, собранным мною в разных изданиях, письма эти большого интереса не представляют, за исключением одного, написанного в Картахене и помеченного 13 августа 1822 года, где Освободитель излагает подробности своего свидания с генералом Сан-Мартином. Излишне подчеркивать ценность этого документа, в котором Боливар, пусть не полностью, приоткрыл нам то, что произошло в Гуаякиле.

Доктор Рикардо Авельянос, упорный противник официальной науки, отказался передать это собрание писем Академии истории и предложил его нескольким латиноамериканским государствам. Благодаря похвальному рвению нашего посла, доктора Меласы, аргентинское правительство оказалось первым, согласившимся принять бескорыстный дар. Было договорено, что уполномоченный им человек приедет в Сулако, столицу Западного государства, и снимет копии с писем, чтобы их опубликовать здесь, в Аргентине. Ректор нашего университета, где я занимаю должность ординарного профессора истории Америки, любезно рекомендовал министру поручить эту миссию мне, я также получил почти единодушную поддержку Национальной академии истории, членом которой являюсь. Уже была назначена дата аудиенции у министра, когда мы узнали, что Южный университет — как я предпочитаю думать, вероятно, не знавший об этом решении, — предложил кандидатуру доктора Циммермана.

Речь идет, как читателю, быть может, известно, об историке-иностранце, выброшенном из родной страны Третьим рейхом и ныне являющемся гражданином Аргентины. Из его работ — несо-

мненно, достойных внимания — мне удалось ознакомиться лишь с полемической защитой семитического карфагенского государства, о котором потомство судит по свидетельствам римских историков, его врагов, а также со своеобразным эссе, утверждающим, что правительству не следует превращаться в зрелищный и насыщенный страстями театр. Это мнение вызвало решительную отповедь Мартина Хайдеггера — приведя фотокопии газетных заголовков, он доказал, что современный глава государства — это вам не какой-то анонимный статист, но протагонист, начальник хора, пляшущий Давид, мимически воспроизводящий драму своего народа, окруженный театральной пышностью и без колебаний прибегающий к гиперболам ораторского искусства. Доказал он также, что Циммерман по происхождению иудей, чтобы не сказать еврей. Эта публикация почтенного экзистенциалиста стала непосредственной причиной эмиграции и перемены сферы научной деятельности нашего гостя.

Циммерман, разумеется, приехал в Буэнос-Айрес, чтобы встретиться с министром, министр же, через своего секретаря, посоветовал мне поговорить с Циммерманом и объяснить ему ситуацию

— дабы избежать некрасивого конфликта двух университетов. Я, естественно, согласился. Когда пришел домой, мне сказали, что доктор Циммерман уже мне звонил и сообщил, что будет в шесть часов. Как известно, я живу на улице Чили. Когда раздался звонок, часы как раз били шесть.

С республиканской простотой я самолично открыл ему дверь и повел в свой кабинет. По пути он остановился полюбоваться патио — черно-белый кафель, две магнолии и бассейн пробудили его красноречие. Кажется, он чуточку нервничал. В его внешности не было ничего примечательного: мужчина лет сорока, крупная голова. Темные очки скрывали глаза, иногда он клал очки на стол, потом снова надевал их. Когда мы здоровались, я с удовлетворением отметил, что я выше ростом, но тут же устыдился своего удовлетворения — ведь речь шла не о физическом и даже не о нравственном поединке, а просто о некоем mise au point[4], пусть не очень приятном. Я малонаблюдателен, даже вовсе не наблюдателен, однако мне запомнилось то, что один поэт неуклюже, под стать предмету, назвал «нелепейшим одеянием». Так и вижу этот костюм ярко-синего цвета с явным

[4] Примечания: 4
Уточнении, выяснении (*фр.*).

излишком пуговиц и карманов. Узел его галстука напоминал хитрые узлы, которые завязывают иллюзионисты. В руке он держал кожаную папку — вероятно, набитую документами, подумал я. Коротко остриженные, на военный лад, усики. И, когда во время разговора он закурил сигару, я почувствовал, что в этом лице слишком много черт. Trop meublé[5], сказал я себе.

Очередность слов в любом сообщении придает неоправданно большое значение называемым предметам — ведь каждое слово занимает какое-то место на странице и какое-то мгновение в мыслях читателя; кроме перечисленных, вполне заурядных черт, облик этого человека наводил на мысль о нелегком прошлом.

В кабинете у меня есть овальный портрет моего прадеда, сражавшегося в войнах за независимость, и несколько витрин со шпагами и знаменами. Я ему показал, давая пояснения, эти славные реликвии, он осматривал их бегло, как бы из чувства долга, и дополнял мои комментарии не без некоторого нахальства — по-моему, невольного, машинального. Например, он говорил:

---

[5] Примечания: 5
Чересчур загромождено (*фр.*).

— Правильно. Сражение под Хунином. Шестого августа тысяча восемьсот двадцать четвертого года. Кавалерийская атака Хуареса.

— Суареса, — поправил я.

Подозреваю, что его обмолвка была нарочитой. Воздев по-восточному руки, он воскликнул:

— Первая моя ошибка и, вероятно, не последняя! Я питаюсь текстами и потому путаюсь, а у вас это замечательное прошлое живет в душе.

Звук «в» он произносил почти как «ф».

Подобная лесть была мне неприятна. Книги больше заинтересовали его. Он любовно разглядывал названия и, помнится, сказал:

— А, Шопенгауэр, который никогда не доверял истории… Как раз это издание Гризебаха было у меня в Праге. Я-то думал, что состарюсь в дружеском окружении этих удобных томов, но именно история, воплощенная в одном сумасшедшем, вышвырнула меня из моего дома и из моего города. И вот я здесь, с вами, в Америке, в вашем уютном доме…

Говорил он не очень правильно, но бегло, явственный немецкий акцент сочетался с испанским шепелявым «с».

Мы уже сидели, и я воспользовался его репликой, чтобы перейти к делу.

— Здесь история более милостива, — сказал я. — Я надеюсь умереть в этом доме, в доме, в котором я родился. Сюда принес мой прадед эту шпагу, немало погулявшую по Америке, здесь я размышлял о прошлом и писал свои книги. Я почти могу сказать, что никогда не покидал эту библиотеку, но теперь я наконец выйду отсюда, чтобы повидать те края, где путешествовал только по картам.

И я постарался улыбкой смягчить возможный излишек пафоса.

— Вы имеете в виду некую Карибскую республику? — спросил Циммерман.

— Именно так. Этой вскоре предстоящей мне поездке я обязан честью принимать вас у себя, — ответил я.

Тринидад подала нам кофе. С неторопливой уверенностью я продолжал:

— Думаю, вам известно, что министр поручил мне переписать и предварить введением письма Боливара, которые по воле случая обнаружены в архиве доктора Авельяноса. Миссия эта со счастливой неотвратимостью венчает труд всей моей жизни. Труд, который я, так сказать, выносил в своей крови.

Для меня было облегчением высказать то, что

требовалось высказать. Циммерман, казалось, меня не слышал, его глаза смотрели не на меня, а на книги за моей спиной. Неопределенно кивнув, он с пафосом воскликнул:

— Да, в крови. Вы прирожденный историк. Ваш народ бродил по просторам Америки и участвовал в великих битвах, когда мой народ, пребывая в безвестности, только-только выглядывал из гетто. У вас история, как вы красноречиво выразились, в крови, вам достаточно лишь прислушиваться к ее тайному голосу. Я же, напротив, вынужден ехать в Сулако разбирать тексты, возможно даже подложные. Поверьте, доктор, я вам завидую.

В его словах не было ни вызова, ни издевки — они выражали твердую волю, делавшую будущее столь же непреложным, как прошлое. Его аргументы здесь роли не играли, сила была в человеке, а не в его умении убеждать. С назидательной неторопливостью Циммерман продолжал:

— В отношении Боливара — простите, Сан-Мартина — ваши симпатии, дорогой мэтр, достаточно известны. «Votre siège est fait»[6]. Я еще не читал

---

[6] Примечания: 6
Ваша позиция определена (*фр.*).

пресловутого письма Боливара, однако неизбежно и вполне разумно будет предположить, что Боливар написал его с целью самооправдания. В любом случае это хваленое послание откроет нам то, что мы могли бы назвать «сектором Боливара», но не «сектором Сан-Мартина». Когда оно будет опубликовано, придется его взвешивать, исследовать, просеивать сквозь критическое сито и, коль необходимо, отвергнуть. Для этого окончательного приговора не найти человека более подходящего, чем вы с вашей лупой. Со скальпелем, с ланцетом, если того потребует научная строгость! Позвольте мне также прибавить, что имя публикатора письма останется связанным с самим письмом. Для вас подобная связь ни в коем случае не желательна. Ведь публика в оттенках не разбирается.

Теперь я понимаю, что дальнейший наш разговор был по сути излишним. Пожалуй, я и тогда это почувствовал, но, чтобы не возражать гостю, я, ухватившись за его замечание, спросил, действительно ли он полагает, что эти письма подделка.

— Пусть там даже слог и почерк Боливара, — ответил он, — это не означает, что в них изложена вся правда. Возможно, что Боливар желал ввести в заблуждение своего адресата или попросту

обманывался сам. Вам, историку, мыслителю, лучше меня знать, что тайна кроется в нас самих, а не в словах.

Его выспренние банальности вызывали у меня раздражение, и я сухо заметил, что внутри окружающей нас тайны свидание в Гуаякиле, где генерал Сан-Мартин отказался от честолюбивых стремлений и отдал судьбу Америки в руки Боливара, это тоже загадка, заслуживающая изучения.

— Есть столько объяснений… — ответил Циммерман. — Кое-кто предполагает, что Сан-Мартин оказался в западне; другие, вроде Сармьенто, что он, будучи военным европейской выучки, растерялся здесь, на этом континенте, которого он никогда не понимал; иные, как правило аргентинцы, приписывали этот поступок самоотверженности, еще кто-то — усталости. Некоторые намекают на секретный наказ какой-то масонской ложи.

Я заметил, что в любом случае было бы интересно восстановить подлинные слова, которыми обменялись Протектор Перу и Освободитель.

— Возможно, что слова они произносили самые обычные, — возразил Циммерман. — В Гуаякиле сошлись лицом к лицу два человека; если один

из них одержал верх, причиной была его более сильная воля, а не приемы диалектики. Как видите, я не забыл моего Шопенгауэра.

И с усмешкой он прибавил:

— «Words, words, words»[7]. Шекспир, непревзойденный мастер по части слов, презирал их. В Гуаякиле, или в Буэнос-Айресе, или в Праге они всегда имеют меньше значения, чем личность.

В этот миг я почувствовал, что с нами что-то происходит или, вернее, уже произошло. Короче, мы стали другими. В комнату заползали сумерки, но я не включал света. Почти машинально я спросил:

— Вы из Праги, доктор?

— Я был из Праги, — ответил он.

Чтобы уклониться от главной темы, я заметил:

— Наверно, странный город. Я его не знаю, но первой немецкой книгой, которую я прочитал, был роман Майринка «Голем».

— Единственная книга Густава Майринка, достойная упоминания, — ответил Циммерман. — В остальные лучше не заглядывать — плохая литература с еще худшей теософией. И все же есть какой-то налет необычности Праги в этой книге

---

[7] Примечания: 7
Слова, слова, слова (*англ.*).

сновидений, растворяющихся в других сновидениях. В Праге все странно или, если угодно, ничто не странно. Там все может случиться. Такое же чувство бывало у меня в вечерние часы в Лондоне.

— Вы говорили о воле, — сказал я. — В «Мабиногион» два короля играют в шахматы на вершине холма, меж тем как в долине их воины сражаются. Один из королей выигрывает партию, тут же прибывает всадник с вестью, что войско другого короля разбито. Битва людей была отражением битвы на шахматной доске.

— Да, магическое действо, — сказал Циммерман.

— Либо проявление воли в двух различных областях, — сказал я. — Другая кельтская легенда повествует о состязании двух знаменитых бардов. Один, аккомпанируя себе на арфе, поет с утренней зари до вечерней. Уже при появлении звезд или луны он передает арфу другому. Тот откладывает арфу в сторону и встает на ноги. Первый признает свое поражение.

— Какая эрудиция! Какая способность обобщения! — воскликнул Циммерман. И уже спокойней прибавил: — Я должен признаться в своем невежестве касательно бретонских материй. Вы, как

дневной свет, объемлете и Запад и Восток, тогда как я замкнут в своем карфагенском углу, который теперь дополняю крохами американской истории. Я всего лишь владею методом.

В его голосе звучала угодливость еврея и угодливость немца, но я чувствовал, что ему ничего не стоит признавать мое превосходство и льстить мне, поскольку его цель уже достигнута.

Он попросил меня не беспокоиться об оформлении его поездки («об этих негоциациях», употребил он отвратительное словечко!). Затем достал из портфеля адресованное министру письмо, где я излагал мотивы своего отказа и общепризнанные заслуги доктора Циммермана, и вложил мне в руку свое вечное перо, чтобы я поставил подпись. Когда он прятал письмо, я случайно заметил билет на самолет, рейс Эсейса — Сулако.

Уходя, он снова остановился перед томами Шопенгауэра и сказал:

— Наш учитель, наш общий учитель, полагал, что ни один поступок не бывает невольным. Если вы остаетесь в этом доме, в этом замечательном патрицианском доме, значит в глубине души вы хотите остаться. Благодарю и уважаю вашу волю.

Без единого слова я принял эту последнюю подачку.

Я проводил его до двери на улицу. Прощаясь, он воскликнул:

— А кофе был отменный!

Перечитываю эти бессвязные строчки, которые вскоре брошу в огонь. Да, недолгим было наше свидание.

Чувствую, что больше ничего не напишу. «Mon siège est fait»[8].

[8] Примечания: 8
Моя позиция определена (*фр.*).

Евангелие от Марка

Эти события произошли в «Тополях» — поместье к югу от Хунина — в конце марта 1928 года. Главным героем их был студент медицинского факультета Балтасар Эспиноса. Не забегая вперед, назовем его рядовым представителем столичной молодежи, не имевшим других приметных особенностей, кроме, пожалуй, ораторского дара, который снискал ему не одну награду в английской школе в Рамос-Мехия, и едва ли не беспредельной доброты. Споры не привлекали его, предпочитавшего думать, что прав не он, а собеседник. Неравнодушный к превратностям игры, он был, однако, плохим игроком, поскольку не находил радости в победе. Его открытый ум не изнурял себя работой, и в свои тридцать три года он все еще не получил диплома, затрудняясь в выборе подходящей специальности. Отец, неверующий, как все порядочные люди того времени, посвятил его в учение Герберта Спенсера, а мать, уезжая в Монтевидео, заставила поклясться, что он будет каждый вечер читать «Отче наш» и креститься перед сном. За многие годы он ни разу не нарушил обещанного. Не то чтобы ему

недоставало твердости: однажды, правда, скорее равнодушно, чем сердито, он даже обменялся двумя-тремя тычками с группой однокурсников, подбивавших его на участие в студенческой демонстрации. Но, в душе соглашатель, он был складом, мягко говоря, спорных, а точнее — избитых мнений: его не столько занимала Аргентина, сколько страх, чтобы в других частях света нас не сочли дикарями; он почитал Францию, но презирал французов; ни во что не ставил американцев, но одобрял постройку небоскребов в Буэнос-Айресе и верил, что гаучо равнин держатся в седле лучше, чем парни с гор и холмов. Когда двоюродный брат Даниэль пригласил его провести лето в «Тополях», он тут же согласился, и не оттого, что ему нравилась жизнь за городом, а по природной уступчивости и за неимением веских причин для отказа.

Господский дом выглядел просторным и чуть обветшалым; неподалеку размещалась семья управляющего по фамилии Гутре: на редкость неуклюжий сын и дочь неясного происхождения. Все трое были рослые, крепко сколоченные, с рыжеватыми волосами и лицами слегка индейского типа. Между собой они почти не разговаривали. Жена управляющего несколько лет назад

умерла.

За городом Эспиносе приоткрылось немало такого, о чем он и понятия не имел. Например, что к дому не подлетают галопом и вообще верхом отправляются только по делу. Со временем он стал различать голоса птиц.

Вскоре Даниэлю понадобилось вернуться в столицу, закончить какую-то сделку со скотоводами. Он рассчитывал уложиться в неделю. Эспиноса, уже слегка пресытившись рассказами брата о любовных победах и его неослабным вниманием к тонкостям собственного туалета, предпочел остаться в поместье со своими учебниками. Стояла невыносимая духота, и даже ночь не приносила облегчения. Как-то поутру его разбудил гром. Ветер трепал казуарины. Эспиноса услышал первые капли дождя и возблагодарил Бога. Резко дохнуло холодом. К вечеру Саладо вышла из берегов.

На другой день, глядя с галереи на затопленные поля, Балтасар Эспиноса подумал, что сравнение пампы с морем не слишком далеко от истины, по крайней мере этим утром, хотя Генри Хадсон и писал, будто море кажется больше, поскольку его видишь с палубы, а не с седла или с высоты человеческого роста. Ливень не унимался; с помощью

или, верней, вопреки вмешательству городского гостя Гутре удалось спасти бо`льшую часть поголовья, но много скота потонуло. В поместье вели четыре дороги; все они скрылись под водой. На третий день домишко управляющего стал протекать, и Эспиноса отдал семейству комнату в задней части дома, рядом с сараем для инструментов. Переезд сблизил их: теперь все четверо ели в большой столовой. Разговор не клеился; до тонкостей зная здешнюю жизнь, Гутре ничего не умели объяснить. Однажды вечером Эспиноса спросил, помнят ли в этих местах о набегах индейцев в те годы, когда в Хунине еще стоял пограничный гарнизон. Они отвечали, что помнят, хотя сказали бы то же самое, спроси он о казни Карла Первого. Эспиносе пришли на ум слова отца, который обыкновенно говаривал, что большинством деревенских рассказов о стародавних временах мы обязаны плохой памяти и смутному понятию о датах. Как правило, гаучо не знают ни года своего рождения, ни имени его виновника.

Во всем доме нечего было почитать, кроме «Фермерского журнала», ветеринарного учебника, роскошного томика «Табаре», «Истории скотоводства в Аргентине», нескольких любовных и криминальных романов и недавно

изданной книги под названием «Дон Сегундо Сомбра». Чтобы хоть чем-то заняться после еды, Эспиноса прочел два отрывка семейству Гутре, не знавшему грамоты. К несчастью, глава семьи сам был прежде погонщиком, и приключения героя его не заинтересовали. Он сказал, что работа эта простая, что они обычно прихватывали вьючную лошадь, на которую грузили все необходимое, и, не будь он погонщиком, ему бы ввек не добраться до таких мест, как Лагуна-де-Гомес, Брагадо и владения Нуньесов в Чакабуко. На кухне была гитара; до событий, о которых идет речь, пеоны частенько рассаживались здесь кружком, кто-нибудь настраивал инструмент, но никогда не играл. Это называлось «посидеть за гитарой».

Решив отпустить бороду, Эспиноса стал нередко задерживаться перед зеркалом, чтобы оглядеть свой изменившийся облик, и улыбался, воображая, как замучит столичных приятелей рассказами о разливе Саладо. Как ни странно, он тосковал по местам, где никогда не был и куда вовсе не собирался: по перекрестку на улице Кабрера с его почтовым ящиком, по лепным львам у подъезда на улице Жужуй, по кварталам у площади Онсе, по кафельному полу забегаловки, адреса которой и знать не знал. Отец и братья,

думал он, верно, уже наслышаны от Даниэля, как его — в буквальном смысле слова — отрезало от мира наводнением.

Перерыв дом, все еще окруженный водой, он обнаружил Библию на английском языке. Последние страницы занимала история семейства Гатри (таково было их настоящее имя). Родом из Инвернесса, они, видимо, нанявшись в батраки, обосновались в Новом Свете с начала прошлого века и перемешали свою кровь с индейской. Хроника обрывалась на семидесятых годах: к этому времени они разучились писать. За несколько поколений члены семьи забыли английский; когда Эспиноса познакомился с ними, они едва говорили и по-испански. В Бога они не верова-ли, но, как тайный знак, несли в крови суровый фанатизм кальвинистов и суеверия индейцев пампы. Эспиноса рассказал о своей находке, его будто и не слышали.

Листая том, он попал на первую главу Евангелия от Марка. Думая поупражняться в переводе и, кстати, посмотреть, как это покажется Гутре, он решил прочесть им несколько страниц после ужина. Его слушали до странности внимательно и даже с молчаливым интересом. Вероятно, золотое тиснение на переплете придавало книге

особый вес. «Это у них в крови», — подумалось Эспиносе. Кроме того, ему пришло в голову, что люди поколение за поколением пересказывают всего лишь две истории: о сбившемся с пути корабле, кружащем по Средиземноморью в поисках долгожданного острова, и о Боге, распятом на Голгофе. Припомнив уроки риторики в Рамос-Мехия, он встал, переходя к притчам.

В следующий раз Гутре второпях покончили с жарким и сардинами, чтобы не мешать Евангелию.

Овечка, которую дочь семейства баловала и украшала голубой лентой, как-то поранилась о колючую проволоку. Гутре хотели было наложить паутину, чтобы остановить кровь; Эспиноса воспользовался своими порошками. Последовавшая за этим благодарность поразила его. Сначала он не доверял семейству управляющего и спрятал двести сорок прихваченных с собой песо в одном из учебников; теперь, за отсутствием хозяина, он как бы занял его место и не без робости отдавал приказания, которые тут же исполнялись. Гутре ходили за ним по комнатам и коридору как за поводырем. Читая, он заметил, что они тайком подбирают оставшиеся после него крошки. Однажды вечером он застал их за разговором о себе,

немногословным и уважительным.

Закончив Евангелие от Марка, он думал перейти к следующему, но отец семейства попросил повторить прочитанное, чтобы лучше разобраться. Они словно дети, почувствовал Эспиноса, повторение им приятней, чем варианты или новинки. Ночью он видел во сне потоп, что, впрочем, его не удивило; он проснулся при стуке молотков, сколачивающих ковчег, и решил, что это раскаты грома. И правда: утихший было дождь снова разошелся. Опять похолодало. Грозой снесло крышу сарая с инструментами, рассказывали Гутре, они ему потом покажут, только укрепят стропила. Теперь он уже не был чужаком, о нем заботились, почти баловали. Никто в семье не пил кофе, но ему всегда готовили чашечку, кладя слишком много сахара.

Новая гроза разразилась во вторник. В четверг ночью его разбудил тихий стук в дверь, которую он на всякий случай обычно запирал. Он поднялся и открыл: это была дочь Гутре. В темноте он ее почти не видел, но по звуку шагов понял, что она босиком, а позже, в постели, — что она пробралась через весь дом раздетой. Она не обняла его и не сказала ни слова, вытянувшись рядом и дрожа. С ней это было впервые. Уходя, она его

не поцеловала; Эспиноса вдруг подумал, что не знает даже ее имени. По непонятным причинам, в которых не хотелось разбираться, он решил не упоминать в Буэнос-Айресе об этом эпизоде.

День начался как обычно, только на этот раз отец семейства первым заговорил с Эспиносой и спросил, правда ли, что Христос принял смерть, чтобы спасти род человеческий. Эспиноса, который сам не верил, но чувствовал себя обязанным держаться прочитанного, отвечал:

— Да. Спасти всех от преисподней.

Тогда Гутре поинтересовался:

— А что такое преисподняя?

— Это место под землей, где души будут гореть в вечном огне.

— И те, кто его распинал, тоже спасутся?

— Да, — ответил Эспиноса, не слишком твердый в теологии.

Он боялся, что управляющий потребует рассказать о происшедшем ночью. После завтрака Гутре попросили еще раз прочесть последние главы.

Днем Эспиноса надолго заснул; некрепкий сон прерывался назойливым стуком молотков и смутными предчувствиями. К вечеру он встал и вышел в коридор. Как бы думая вслух, он произнес:

— Вода спадает. Осталось недолго.

— Осталось недолго, — эхом подхватил Гутре.

Все трое шли за ним. Преклонив колена на каменном полу, они попросили благословения. Потом стали осыпать его бранью, плевать в лицо и выталкивать на задний двор. Девушка плакала. Эспиноса понял, что его ждет за дверью. Открыли, он увидел небо. Свистнула птица. «Щегол», — мелькнуло у него. Сарай стоял без крыши. Из сорванных стропил было сколочено распятие.

Сообщение Броуди

В экземпляре первого тома «Тысячи и одной ночи» (Лондон, 1840) Лейна, добытом для меня дорогим моим другом Паулино Кейнсом, мы обнаружили рукопись, которую я здесь переведу на испанский. Судя по каллиграфическому почерку — искусству, от которого нас отучают пишущие машинки, — она относится ко времени издания книги. Как известно, Лейн не поскупился на пространные комментарии, но, кроме того, на полях изобилуют всяческие добавления, вопросительные знаки и кое-где поправки, написанные тем же почерком, что и рукопись. Похоже, читателя меньше интересовали сказки Шехерезады, чем мусульманские обычаи. О Дэвиде Броуди, чья подпись с изящным росчерком стоит под рукописью, мне ничего не удалось разузнать, за исключением того, что он был шотландский миссионер родом из Абердина и проповедовал христианскую веру в центре Африки, а затем в дебрях Бразилии, страны, куда его, видимо, привело знание португальского языка. Даты его рождения и смерти мне неизвестны. Рукопись, насколько я знаю, никогда не публиковалась.

Я буду дословно переводить это сообщение, изложенное на бесцветном английском языке, не позволяя себе никаких пропусков, кроме нескольких стихов из Библии да одного занятного пассажа о сексуальных обычаях йеху, которые почтенный пресвитерианин целомудренно доверил латыни. Первая страница отсутствует.

* * *

«…края, опустошаемого людьми-обезьянами (Apemen), находится обиталище „mlcm“, которых я буду называть „йеху“, дабы мои читатели не забывали об их скотской природе, а еще потому, что точная транскрипция тут невозможна из-за отсутствия гласных в их отрывистой речи. Число особей в племени, как я полагаю, не превышает семи сотен, включая ветвь „nr“, живущих южнее, в густых зарослях кустарника. Названная мною цифра приблизительна, поскольку, за исключением царя, царицы и колдунов, у йеху нет жилищ и они спят там, где их застанет ночь, а не на определенном месте. Численность их сокращается из-за болотной лихорадки и непрестанных набегов людей-обезьян. Имена есть только у немногих. Желая кого-то позвать, они швыряют в него комьями грязи. Я также видел йеху, ко-

торые, чтобы позвать друга, бросались наземь и кувыркались. Физически они не отличаются от племени кру, только лоб у них более низкий и медный оттенок кожи уменьшает ее черноту. Питаются они плодами, корнями и пресмыкающимися, пьют молоко кошек и летучих мышей, ловят рыбу руками. Когда едят, прячутся или закрывают глаза, — все прочее совершают на виду у всех, подобно философам-киникам. Поедают сырыми трупы колдунов и царей, чтобы приобрести их достоинства. Я стал их укорять за этот обычай, в ответ они притронулись к своему рту, а потом к животу, желая, возможно, показать, что мертвецы — это тоже пища или — но это, пожалуй, для них было бы слишком сложно, — чтобы я понял, что в конце концов все, чем мы питаемся, становится человеческой плотью.

В своих битвах они употребляют камни, кучи которых собирают про запас, и магические проклятия. Ходят голые, изготовление одежды и даже татуировка им неведомы.

Примечательно, что, располагая обширным, заросшим травою плоскогорьем, где имеются источники с чистой водой и тенистые деревья, они предпочитают копошиться внизу, в болотах, окружающих плоскогорье, словно испытывая

удовольствие от жестоких лучей экваториального солнца и от грязи. Склоны плоскогорья отвесны и представляют некую защиту от людей-обезьян. В горных местностях Шотландии кланы сооружали себе крепости на вершинах холмов — я рассказал об этом обычае колдунам, предлагая взять его за образец, но бесполезно. Тем не менее они разрешили мне соорудить хижину на плоскогорье, где ночью воздух более прохладен.

Племенем управляет царь, обладающий абсолютной властью, однако я подозреваю, что на самом деле правят четыре колдуна, окружающие царя и его избравшие. Каждого новорожденного подвергают тщательному осмотру и, если у него обнаруживают определенные приметы — какие, мне не хотели сказать, — его провозглашают царем йеху. Тогда его увечат (he is gelded) — выжигают глаза, отрубают кисти рук и ступни, дабы мирская суета не отвлекала его от постижения мудрости. Живет он в пещере, именуемой „дворцом“ („qzr“), куда имеют доступ только четыре колдуна да несколько рабов, которые прислуживают царю и натирают его нечистотами. Если начинается война, колдуны вытаскивают царя из пещеры, показывают всему племени для возбуждения храбрости и несут его на плечах в

самую гущу схватки, как знамя или талисман. В подобных случаях он обычно сразу же погибает под градом камней, которыми его забрасывают люди-обезьяны.

В другом „дворце“ живет царица, которой не дозволено видеть ее царя. Она удостоила меня аудиенции — она улыбчива, молода и недурна собой, насколько это возможно для их расы. Ее наготу украшают браслеты из металла и слоновой кости и ожерелья из зубов. Она оглядела меня, обнюхала, потрогала и в заключение предложила мне себя на глазах у своих камеристок. Мой сан (my cloth) и мои правила не позволили мне принять эту честь, которую она обычно оказывает колдунам и охотникам за рабами, в основном мусульманам, чьи караваны проходят через их страну. Два-три раза она вонзила мне в тело золотую иглу — подобные уколы являются знаком царской милости, и некоторые йеху сами себе их наносят, чтобы похвалиться благосклонностью царицы. Украшения, мной упомянутые, доставляются из других краев — йеху полагают их созданиями природы, ибо сами не способны изготовить даже простейшую вещь. Мою хижину племя считало деревом, хотя многие видели, как я ее строил, и сами мне помогали. Были у меня,

среди прочих вещей, пробковый шлем, компас и Библия; йеху их разглядывали, взвешивали на ладони и спрашивали, где я их нашел. Мой походный нож они нередко хватали за лезвие — бесспорно, они в нем видели что-то другое. Не знаю, как бы они истолковали назначение стула. Дом с несколькими комнатами был бы для них настоящим лабиринтом, но, возможно, они бы в нем не заблудились, как не заблудится кошка, хотя она не может его вообразить. Всех их поражала моя борода, тогда еще рыжая, — они любили ее гладить.

Йеху не испытывают ни страданий, ни радостей, кроме удовольствия от сырого, протухшего мяса и всяческих зловонных предметов. Отсутствие воображения делает их жестокими.

О царе и царице я уже рассказал, теперь перейду к колдунам. Я писал, что их четверо — это самое большое число в арифметике йеху. Считают они на пальцах: один, два, три, четыре, много — с большого пальца начинается бесконечность. То же самое, как меня уверяют, наблюдается у племен, бродящих в окрестностях Буэнос-Айреса. Несмотря на то что „четыре“ — последнее доступное им число, торгующие с ними арабы не обманывают их, потому что при обмене все

делится на кучки в один, два, три, четыре предмета, которые каждый кладет на свою сторону. Обменные операции совершаются медленно, но в них никогда не бывает ни ошибок, ни обмана. В народе йеху подлинный интерес вызвали у меня только колдуны. Им приписывают способность превращать, кого пожелают, в муравьев или в черепах; один йеху, заметив на моем лице выражение недоверия, указал мне на муравейник, словно он мог служить доказательством. Памяти у йеху нет, вернее, почти нет; они говорят об ущербе, причиненном нашествием леопардов, однако не знают, то ли сами видели его, то ли их предки, или же они рассказывают какой-то сон. У колдунов память есть, хотя и в минимальной степени: вечером они могут вспомнить то, что происходило утром или даже накануне вечером. Отличаются они также даром предвидения: со спокойной уверенностью провозглашают, что произойдет через десять или пятнадцать минут. Например, заявляют: „Сейчас мне на затылок сядет муха“ или „Скоро мы услышим крик птицы“. Сотни раз я убеждался в этой их любопытной способности и немало над ней размышлял. Мы знаем, что прошлое, настоящее и будущее уже существуют, до мельчайшей мелочи, в пророче-

ской памяти Бога, в Его вечности; странно, что люди могут бесконечно далеко видеть назад, но не вперед. Если я со всей отчетливостью помню крупнотоннажный парусник, прибывший из Норвегии, когда мне было около четырех лет, чего ж удивляться, если кто-то способен предвидеть то, что вот-вот должно случиться? С философской точки зрения память — не менее чудесная способность, чем угадывание будущего; завтрашний день ближе к нам, чем переход евреев через Чермное море, о котором мы, однако же, помним. Простым людям племени запрещается смотреть на звезды, этой привилегией пользуются только колдуны. У каждого колдуна есть ученик, которого он с детских лет наставляет в тайных науках и который после его смерти сменяет его. Таким образом, их всегда четыре, число это у них имеет магический смысл как последнее доступное уму человеческому. Они на свой лад придерживаются учения об аде и рае. И тот и другой находятся под землей. В аду, где светло и сухо, обитают, по их мнению, больные, старики, презираемые, люди-обезьяны, арабы и леопарды; в раю, который им представляется болотистым, погруженным во тьму местом, обретаются царь, царица, колдуны, все те, кто на земле был счастлив, жесток и

кровожаден. Почитают они также некоего бога, которого величают Кал, придуманного, возможно, по образу и подобию их царя: он существо увечное, слепое, хилое и обладающее неограниченной властью. Обычно он принимает облик муравья или змеи.

После вышесказанного, думаю, никого не удивит, что за все время пребывания у них мне не удалось по-настоящему побеседовать ни с одним йеху. Словосочетание „Отче наш“ приводило их в замешательство, ибо они лишены понятия отцовства. Они не представляют себе, что некий акт, совершенный девять месяцев тому назад, может быть связан с рождением ребенка, — столь отдаленная и неправдоподобная связь им непонятна. Что ж до прочего, то все их женщины вступают в плотские сношения, но не все становятся матерями.

Язык у них сложный. Он не похож ни на один из языков, мне известных. Здесь невозможно выделить члены предложения, поскольку нет предложений. Каждое односложное слово соответствует некой общей идее, уточняемой контекстом или ужимками говорящего. Например, слово „nrz“ содержит идею разбросанности или пятнистости; оно может обозначать звездное

небо, леопарда, стаю птиц, рябое лицо, что-то разбрызганное, действие разливания или бегство врассыпную с поля боя. Слово „hrl“, напротив, указывает на что-то объединенное или плотное; оно может обозначать племя, ствол, кучу камней, собирание камней, четырех колдунов, соитие и лесную чащу. Произнесенное другим тоном или с другой гримасой, каждое слово может иметь противоположный смысл. Не будем чересчур удивляться: в нашем английском языке глагол to cleave тоже означает и „прилипать“, и „разрезать“. Таким образом, они обходятся без предложений, даже усеченных.

Подобный язык предполагает способность к абстрактному мышлению, почему я думаю, что йеху, несмотря на их дикость, следует отнести не к первобытным народам, но к народам выродившимся. Эту гипотезу подтверждают надписи, обнаруженные мною на вершине плоскогорья, их знаки напоминают руны, которые высекали на камнях наши предки, и нынешние йеху уже не могут их расшифровать. Похоже, будто они забыли письменный язык и у них остался только устный.

Развлечения племени состоят из боев выдрессированных для этой цели котов и из казней.

Например, кого-нибудь обвинили в покушении на честь царицы или в том, что он ел на глазах у других; ни свидетельских показаний, ни признания обвиняемого не требуется — царь тут же выносит смертный приговор. Осужденный подвергается пыткам, о которых я предпочитаю умолчать, затем его побивают камнями. Царица имеет право бросить первый и последний камень, обычно уже излишний. Толпа восхваляет ее ловкость и все ее прелести и неистово ее приветствует, забрасывая розами и всякой вонючей пакостью. Царица не произносит ни слова, только улыбается.

Другой любопытный обычай связан с поэтами. Кому-то из йеху приходит в голову связать подряд шесть-семь слов, как правило загадочных. Не в силах сдержаться, он выкрикивает их, стоя в центре круга, образованного сидящими на земле колдунами и плебсом. Если его стихи никого не тронут, то ничего не происходит; если же слова поэта вызвали страх, все молча отдаляются от него, охваченные священным ужасом (under a holy dread). Они чувствуют, что его посетил дух, — теперь никто с ним не заговорит и на него не взглянет, даже родная мать. Отныне он уже не человек, а бог, и всякий имеет право его убить.

Поэт же, если ему удается, ищет спасения в песчаных местностях Севера.

Выше я уже описывал, как очутился у йеху. Читатель, наверно, помнит, что они меня окружили, что я выстрелил в воздух из ружья и что они приняли звук выстрела за какой-то волшебный гром. Дабы поддерживать в них этот страх, я старался ходить без оружия. В одно весеннее утро, на рассвете, на нас внезапно напали люди-обезьяны; я бегом спустился вниз с ружьем и убил двоих из этих скотов. Остальные в панике убежали. Пулю, как известно, увидеть невозможно. Впервые в жизни мне довелось услышать хвалебные возгласы. Кажется, именно тогда царица изволила меня принять. Но память йеху коротка, и в тот же день я от них ушел. Мои блуждания в лесах не представляют интереса В конце концов я набрел на селение чернокожих, умевших пахать, сеять и молиться, с которыми я мог объясниться на португальском языке. Миссионер, знавший романские языки, падре Фернандес, приютил меня в своей хижине и заботился обо мне, пока я не смог продолжить свой нелегкий путь. Сперва меня мутило при виде того, как он, не таясь, разевает рот и закладывает туда куски пищи. Я закрывал глаза рукой или отводил взгляд, но

через несколько дней привык. С удовольствием вспоминаю наши богословские споры. Мне так и не удалось возвратить его в лоно истинной веры Христовой.

Пишу я это в Глазго. Я рассказал о своем пребывании среди йеху, но не упомянул о внушенном ими ужасе, который никогда меня не покидает вполне и посещает в сновиденьях. На улице мне чудится, что они и поныне окружают меня. Да, я знаю, что йеху — народ дикий, быть может самый дикий из существующих на земле, и все же было бы несправедливо забывать, что им свойственны черты, позволяющие не судить их чересчур строго. У них есть общественный строй, им даровано благо иметь царя, они пользуются языком, основанным на родовых понятиях, они, подобно евреям и грекам, верят в божественный источник поэзии и догадываются, что после смерти тела душа остается жить. Они подтверждают оправданность системы наград и наказаний. В общем, они тоже представляют культуру, как представляем ее мы, несмотря на многие наши грехи. Я не раскаиваюсь, что вместе с ними отражал нападение людей-обезьян. Наш долг спасти их. Надеюсь, что правительство Ее Величества не оставит без внимания идею, которую я дерзнул

вложить в это сообщение».

Книга Песка

Другой

Сам случай произошел в феврале 1969 года на севере Бостона, в Кембридже. Я не записал происшествия в тот же день, поскольку первым желанием было все забыть, чтобы не сойти с ума. Теперь, в 1972 году, мне кажется, что если я его запишу, то другие — а с годами, может быть, и я сам — прочтут это попросту как рассказ.

Знаю, случившееся было почти невыносимо — и пока продолжалось, и долгими бессонными ночами потом. Отсюда вовсе не следует, что мой пересказ заденет читателей.

Было десять утра. Я сидел на скамье у реки Чарлз. Справа, метрах в пятистах, возвышалась башня, названия которой я так и не знаю. Серая вода уносила большие льдины. Река, понятно, навела меня на мысль о времени. О тысячелетней метафоре Гераклита. Я хорошо выспался; вчерашняя вечерняя лекция, кажется, расшевелила студентов. Вокруг не было ни души.

Внезапно мне почудилось (психологи связывают такое с усталостью), что все это я уже однажды видел. Кто-то сел на другой конец скамьи. Я бы предпочел остаться один, но с места не встал,

чтобы не выглядеть невежливым. Другой начал насвистывать. И тогда я впервые почувствовал потрясение, которое потом не раз испытывал тем утром. Он насвистывал или пытался насвистывать ла-платский мотив — это был «Старый дом» Элиаса Регулеса. Мотив перенес меня в давно исчезнувший дворик и напомнил об Альваро Мельяне Лафинуре, умершем много лет назад. Потом послышались и слова, первый куплет. Голос принадлежал не Альваро, но явно ему подражал. Мне стало страшно.

Я подвинулся к пришельцу и поинтересовался:

— Сеньор, вы уругваец или аргентинец?

— Аргентинец, но с тысяча девятьсот четырнадцатого года живу в Женеве, — отозвался он.

Несколько секунд мы молчали. Я спросил:

— В доме восемнадцать по улице Маланью, напротив православной церкви?

Он подтвердил.

— В таком случае, — отрезал я, — вас зовут Хорхе Луисом Борхесом. Я тоже Хорхе Луис Борхес. Сейчас тысяча девятьсот шестьдесят девятый год, мы в Кембридже.

— Нет, — ответил он моим голосом, но каким-то далеким. И, помолчав, добавил: — Я в Женеве, на скамье в двух шагах от Роны. Странно, но мы

похожи; правда, вы намного старше и уже седой.

Я сказал:

— Могу доказать, что говорю правду. Вот послушай, чужие этого знать не могут. У нас дома есть серебряный мате с подставкой в виде змейки, его привез из перуанского похода наш прадед. А еще серебряный тазик для бритья, такие привязывали к седельной луке. Книги у тебя в шкафу стоят в два ряда. Там есть три тома «Тысячи и одной ночи» в переводе Лейна, с гравюрами в тексте и примечаниями петитом в конце каждой главы, латинский словарь Кишера, тацитовская «Германия» — по-латыни и в переложении Гордона, «Кровавые скрижали» Риверы Индарте с дарственной надписью автора, «Сартор Резартус» Карлейля, биография Амьеля; за другими томами припрятана книга в бумажной обложке, она о сексуальных обычаях балканских народов. Могу еще рассказать про тот вечер на втором этаже особняка у площади Дюбур.

— Дюфур, — поправил он.

— Да, конечно, Дюфур. Ты удовлетворен?

— Нет, — ответил он. — Ничего это не доказывает. Если вы мне снитесь, то, понятное дело, знаете все, что знаю я. И весь ваш пространный каталог здесь ни при чем.

Он был прав. Я сказал:

— Если сегодняшнее утро и наша встреча — только сон, пусть каждый думает, что этот сон — его собственный. Может быть, мы от него проснемся, может быть — нет. Как бы там ни было, мы вынуждены его принять, как принимаем этот мир и факт, что мы появились на свет, что видим и дышим.

— А если сон не прервется? — с беспокойством спросил он.

Чтобы его успокоить и успокоиться самому, я изобразил уверенность, которой, правду сказать, не чувствовал. И сказал:

— Мой сон длится уже семьдесят лет. В конце концов, каждый, когда вспоминает, встречается с самим собой. И с нами сейчас происходит ровно то же, только нас двое. Хочешь, расскажу тебе кое-что из моего прошлого — для тебя оно станет будущим?

Он кивнул. Я, немного теряясь, стал перечислять:

— Мама в своем доме на углу Чаркас и Майпу жива и здорова, а вот отец умер тридцать лет назад. Не выдержало сердце. Но сначала у него был удар; левая рука отнялась и неподвижно лежала на правой, как будто детская ручонка на

великанской руке. Он умер с облегчением, но без единой жалобы. Бабушка умерла в том же доме. За несколько дней до смерти она созвала нас всех и сказала: «Я просто старуха, которая слишком долго умирает. Так что не сбивайтесь с ног: дело — самое обычное». Твоя сестра Нора замужем, у нее два сына. Кстати, как там наши домашние?

— Неплохо. Отец все посмеивается над религией. Вчера вечером сказал, что Иисус — вроде наших гаучо: те тоже не хотят оскандалиться, а потому выражаются намеками.

На секунду он заколебался, но все же спросил:

— А как вы?

— Не знаю точно, сколько книг ты напишешь, но их будет слишком много. Будешь писать стихи — они принесут тебе одинокую радость — и фантастические рассказы. Станешь читать лекции, как отец и другие у нас в семье.

К счастью, он ничего не спросил о судьбе книг. Я, уже другим тоном, продолжил:

— А что касается истории… Была еще одна война и почти с теми же участниками. Франция немедленно капитулировала; Англия и Америка сражались с немецким диктатором по имени Гитлер — та же нескончаемая битва при Ватерлоо. В Буэнос-Айресе в тысяча девятьсот сорок

шестом году объявился еще один Росас, довольно похожий на нашего родственника. В пятьдесят пятом нас избавила от него провинция Кордова, как от прежнего — Энтре-Риос. На нынешний день похвалиться нечем. Россия мало-помалу подчиняет себе мир; Америка из-за своих демократических предрассудков не решается стать империей. Аргентина с каждым днем выглядит все захолустней. Захолустней и заносчивей, как будто не хочет видеть ничего вокруг. Не удивлюсь, если вместо латыни у нас вот-вот начнут преподавать гуарани.

Тут я заметил, что он меня почти не слушает. Его парализовал обычный страх перед неимоверным, когда оно вдруг предстает наяву. У меня никогда не было детей, но к этому бедному мальчику, который был мне ближе родного сына, я вдруг почувствовал странную нежность. В руках он сжимал какую-то книгу. Я спросил, что это.

— «Одержимые», точнее, «Бесы» Федора Достоевского, — ответил он, слегка рисуясь.

— А, припоминаю. И как они тебе?

Еще не договорив, я понял оскорбительность своего вопроса.

— Русский мастер, — отчеканил он, — как никто другой проник в лабиринты славянской

души.

Судя по взлету риторики, он, кажется, взял себя в руки. Я спросил, что еще у этого мастера он читал.

Он назвал две-три вещи и среди них — «Двойника».

Я спросил, видит ли он, читая, героев Достоевского так же ясно, как в книгах Конрада, и не собирается ли прочесть все его сочинения целиком.

— По правде сказать, нет, — кажется, сам удивляясь, ответил он.

Я спросил, что он сейчас пишет. Он сказал, что заканчивает книгу стихов, которую назовет, вероятно, «Красные псалмы». Или «Красные ритмы».

— Что ж, почему бы и нет? — отозвался я. — Дорога тут проторена, да еще какая: лазурные стихи Дарио, серая песенка Верлена.

Не отвлекаясь на мои слова, он объяснил, что его книга воспевает братство людей всей земли. И что современный поэт не вправе отворачиваться от своей эпохи.

Я подумал и спросил, неужели он в самом деле чувствует себя братом всех на свете. К примеру, всех сотрудников бюро ритуальных услуг, всех почтальонов, всех водолазов, всех ночующих

на тротуарах у домов с четными номерами, всех потерявших голос и так далее. Он ответил, что его книга посвящена неисчислимым массам угнетенных и отверженных.

— Твои массы угнетенных и отверженных, — отозвался я, — попросту абстракция. Если на свете кто и существует, то лишь отдельные люди. «Вчерашний человек — уже не тот, что сегодняшний», — учил один грек. И может быть, мы с тобой, сидящие сейчас вдвоем на этой скамье то ли в Женеве, то ли в Кембридже, наилучшее тому подтверждение.

Если не брать неумолимых страниц Истории, памятные события в жизни обходятся, как правило, без памятных фраз. Умирающий силится вспомнить какую-то виденную в детстве картинку, солдаты перед боем болтают о пустяках или о своем сержанте. Наша встреча была невероятной, и мы, говоря начистоту, оказались к ней не готовы. Зачем-то перешли на литературу, и, боюсь, я не удержался от фраз, которые обычно говорю репортерам. Мой альтер эго верил в изобретение или открытие новых метафор, я — лишь в те, которые отвечают внутренним и общепринятым связям и с которыми давно свыклось воображение. Старость и закат, сон и жизнь, бег времени

и реки. Я стал делиться с ним мыслями, которые через несколько лет изложил в книге.

Впрочем, он меня почти не слушал. И вдруг спросил:

— Но если вы действительно были мной, то как вы могли не запомнить встречу с пожилым господином, который в тысяча девятьсот восемнадцатом году уверял вас, что он — тоже Борхес?

Об этой загвоздке я не подумал. И ответил без большой уверенности:

— Может быть, происшествие было до того невероятно, что я постарался все забыть.

Он решился робко спросить:

— А на память вы не жалуетесь?

Я осознал, что для юноши, не достигшего и двадцати лет, человек за семьдесят выглядит мертвецом. И ответил:

— Она не слишком отличается от забвения, но пока еще удерживает то, чем ее отягощают. Я взялся изучать англосаксонский и считаюсь не последним учеником.

Для сновидения наша беседа длилась уже слишком долго. Вдруг меня осенило.

— Могу хоть сейчас доказать, — обратился я к нему, — что я — не твой сон. Вот послушай эту строку — ты ее никогда не читал, а я помню.

Я медленно прочитал знаменитый стих:

L'hydre-univers tordant son corps écaillé d'astres[9].

И почувствовал, как он поразился и замер. Потом он вполголоса повторил ее, лаская губами каждое чудесное слово.

— Да, — пробормотал он. — Мне ничего подобного не написать.

Гюго на минуту сблизил нас.

Перед этим он, помню, с жаром декламировал небольшую вещь Уитмена, где поэт вспоминает ту разделенную с другом ночь у моря, когда он был по-настоящему счастлив.

— Если Уитмен пишет о ней, — заметил я, — значит он по ней томился, но так и не узнал ее наяву. Стихи задевают нас, когда в них угадываешь желание, а не отчет о случившемся.

Он смотрел на меня, потеряв дар речи.

— Нет, вы его не знаете, — в конце концов воскликнул он, — Уитмен не способен солгать.

Не напрасно нас разделяло полстолетия. Слушая наш разговор людей разного читательского опыта и вкусов, я почувствовал, что нам друг

---

[9] Примечания: 9
Мир-змей, что выгнулся звездно-чешуйным телом (*фр.*).

друга не понять. Слишком мы были разными, слишком похожими. Мы не обманывались друг в друге, а это всегда затрудняет диалог. Каждый из нас карикатурно передразнивал другого. Уродливая ситуация чересчур затянулась. Ни советы, ни спор ни к чему бы не привели: он был обречен стать мной.

Тут мне вспомнилась одна из колриджевских фантазий. Кому-то у него приснилось, что он побывал в раю и в доказательство этого получил цветок. Проснувшись, он сжимает цветок в руке.

Мне пришла в голову похожая выдумка.

— Послушай, — сказал я, — у тебя есть какие-нибудь деньги?

— Есть, — откликнулся он. — Франков двадцать. Сегодня вечером я позвал в «Крокодил» Симона Жиклинского.

— Передай Симону, что он будет изучать медицину в Каруже и сделает много хорошего… А теперь дай мне одну монетку.

Он достал три серебряные монеты, несколько медных. И не понимая зачем, протянул мне серебряную.

А я дал ему один из тех неосмотрительных американских банкнотов, которые различаются по достоинству, но всегда одинаковы по размеру.

Он в него жадно вгляделся.

— Не может быть! — воскликнул он. — Здесь стоит дата — тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год.

(Несколько месяцев спустя мне скажут, что дата на банкнотах не ставится.)

— Это чудо, — в конце концов выговорил он, — а чудеса внушают страх. Те, кто увидел воскресение Лазаря, тоже, думаю, пришли в ужас.

Ничто не способно нас изменить, подумал я. Всё те же ссылки на книжную мудрость.

Он в клочья порвал банкнот, а мне оставил монету.

Я было подумал бросить ее в реку. Дуга, описанная нырнувшей в воду серебряной монетой, могла бы подарить моему рассказу живую деталь, но судьба решила иначе.

Я ответил, что сверхъестественное, стоит ему повториться, уже не пугает. И предложил встретиться завтра на этой же скамье, находящейся в двух разных местах и эпохах.

Он для виду согласился и, не взглянув на часы, сказал, что ему пора. Мы оба кривили душой, и каждый знал, что собеседник лжет. Я сказал, что и за мной вот-вот придут.

— Придут? — удивился он.

— Да. В мои годы ты тоже почти ослепнешь. Будешь видеть одну желтую мглу да еще отличать свет от тени. Но не бойся. В постепенной слепоте трагедии нет. Это похоже на долгий летний вечер.

Мы простились, не подав друг другу руки. На завтрашнюю встречу я не пошел. Другой, скорей всего, тоже.

Я долго думал об этой встрече, хотя никому о ней не рассказывал. И кажется, понял, в чем дело. Встреча на самом деле была, но другой разговаривал со мной во сне и поэтому смог меня забыть; я же говорил с ним наяву, и воспоминание мучает меня по сей день.

Я приснился другому, но снился ему, строго говоря, не я. Ему снилась, как я теперь понимаю, несуществующая дата на долларовой бумажке.

Ульрика

Hann tekr sverthit Gram ok
leggr i methal theira bert.
«Völsunga Saga»*[10], *27

В рассказе я буду придерживаться реальности или, по крайней мере, своих воспоминаний о реальности, что, в конце концов, одно и то же. События произошли недавно, но в литературном обиходе, как известно, принято дописывать подробности и заострять акценты. Я хочу рассказать о встрече с Ульрикой (не знаю и, видимо, никогда не узнаю ее имени) в Йорке. Все происшествие заняло вечер и утро.

Конечно, я мог бы придумать, что в первый раз увидел ее у «Пяти сестер», под не запятнанными ничьим воображением витражами, которые пощадили кромвелевские иконоборцы, но на самом деле мы познакомились в зальчике «Northern Inn»[11], за стенами города. Было полупусто, она

---

[10] Примечания: 10

Он берет меч Грам и кладет его обнаженным между собой и ею. — «Сага о Вёльсунгах» (*др.-исл.*; перевод Б. Ярхо).

[11] Примечания: 11

«Северная гостиница» (*англ.*).

сидела ко мне спиной. Ей предложили выпить, последовал отказ.

— Я феминистка, — бросила она, — и не собираюсь подражать мужчинам. Мне отвратительны их табак и спиртное.

Фраза была рассчитана на успех, я понял, что ее произносят не впервые. Потом я узнал, до чего эта мысль не в ее характере; впрочем, наши слова часто не похожи на нас.

Она, по ее словам, опоздала в здешний музей, но ее пустили, узнав, что посетительница из Норвегии.

Кто-то заметил:

— Норвежцы не в первый раз в Йорке.

— Да, — подхватила она. — Англия была нашей, но мы ее потеряли. Если человек вообще может хоть чем-то владеть или что-то терять.

И тогда я увидел ее. У Блейка где-то говорится о девушках из нежного серебра и ярого золота. Ульрика была золото и нежность. Высокая, подвижная, с точеным лицом и серыми глазами. Но поражала в ней даже не внешность, а выражение спокойной тайны. Беглая улыбка делала ее еще отрешенней. На ней было черное платье, что редкость в северных краях, где пестротой пытаются скрасить блеклое окружение. По-английски она

говорила чисто, точно, лишь слегка подчеркивая «р». Я не наблюдал за ней, все это понемногу вспомнилось позже.

Нас представили. Я сказал, что преподаю в Андском университете в Боготе, и пояснил, что колумбиец.

Она задумчиво спросила:

— А что значит быть колумбийцем?

— Не знаю, — ответил я. — Вопрос веры.

— То же самое, что норвежкой, — заметила она.

О чем еще говорилось тем вечером, не помню. Наутро я рано спустился в столовую. За окнами выпал снег; пустоши тонули в рассветном солнце. Мы были одни. Ульрика позвала меня за свой столик. Она сказала, что любит гулять в одиночку.

Я вспомнил шутку Шопенгауэра и возразил:

— Я тоже. Можем отправиться вдвоем.

Мы двинулись по свежему снегу. Вокруг не было ни души. Я предложил добраться до Торгейта, спустившись несколько миль по реке. Я уже знал, что люблю Ульрику, и хотел идти рядом с ней одной.

Вдруг издали донесся вой волка. Я ни разу не слышал волчьего воя, но понял, что это волк. Ульрика не изменилась в лице.

Внезапно, словно думая вслух, она произнесла:

— Несколько жалких мечей вчера в Йорк-Минстере тронули меня сильнее, чем громадные корабли в музее Осло.

Наши пути расходились. Вечером Ульрика отправлялась в Лондон, я — в Эдинбург.

— Хочу пройти по Оксфорд-стрит, — сказала Ульрика, — где Де Куинси искал свою Анну, потеряв ее в лондонском многолюдье.

— Де Куинси, — отозвался я, — перестал искать. А я, вот уже столько лет, все ищу.

— И кажется, нашел, — уронила она вполголоса.

Я понял, что сейчас может сбыться самое невероятное, и стал целовать ее губы и глаза. Она мягко отстранилась и, помолчав, сказала:

— Я стану твоей в Торгейте. А пока не трогай меня. Прошу, так будет лучше.

Для старого холостяка обещание любви — нечаянный дар. Сулящая чудо вправе диктовать условия. Я вспомнил свою юность в Попайяне и девушку из Техаса, светловолосую и гибкую, как Ульрика, которая отвергла мою любовь.

Я не сделал ошибки, спросив, любит ли она меня. Я понимал, что окажусь не первым и не останусь последним. Это приключение, видимо

итоговое для меня, было для этой блестящей и решительной воспитанницы Ибсена одним из многих.

Мы шли, взявшись за руки.

— Все это похоже на сон, — сказал я, — а мне никогда не снятся сны.

— Как тому царю, — откликнулась Ульрика, — который не видел снов, пока волшебник не усыпил его в свинарне. — И через миг добавила: — Послушай. Сейчас запоет птица.

Спустя мгновение послышалась трель.

— В этих краях верят, — сказал я, — что обреченные на смерть могут предсказывать будущее.

— Я и обречена, — был ответ.

Я ошеломленно посмотрел на нее.

— Пойдем через лес, — настаивал я. — Так короче.

— В лесу опасно, — отвечала она.

Пошли пустошью.

— Если бы эта минута длилась вечно, — прошептал я.

— «Вечность» — слово, запретное для людей, — произнесла Ульрика и, чтобы смягчить высокопарность, попросила повторить мое имя, которого не расслышала.

— Хавьер Ота́рола, — выговорил я.

Она попробовала повторить и не смогла. У меня имя «Ульрикке» тоже не получилось.

— Буду звать тебя Сигурдом, — сказала она с улыбкой.

— Если так, — ответил я, — то ты — Брюнхильда.

Она замедлила шаг.

— Знаешь эту сагу? — спросил я.

— Конечно, — отозвалась она. — Трагическая история, которую германцы испортили потом своими «Нибелунгами».

Я не стал спорить и сказал ей:

— Брюнхильда, ты идешь так, словно хочешь, чтобы на ложе между нами лежал меч.

Но мы уже стояли перед гостиницей. Я почему-то не удивился, что она тоже звалась «Northern Inn».

С верхней площадки Ульрика крикнула мне:

— Слышишь, волк? В Англии волков не осталось. Иди скорей.

Поднимаясь, я заметил, что обои на стенах — во вкусе Уильяма Морриса: темно-красные, с узором из плодов и птиц. Ульрика вошла первой. Темная комнатка была низкой, как чердак. Долгожданная кровать повторялась в смутном стекле, и потускневшая полировка дерева напомнила

мне о зеркале в Библии. Ульрика уже разделась. Она называла меня по имени: «Хавьер». Я почувствовал, что снег повалил гуще. Вещи и зеркала исчезли. Меч не разделял нас. Время текло, как песок. Век за веком длилась во тьме любовь, и образ Ульрики в первый и последний раз был моим.

Конгресс

Ils s'acheminèrent vers un château immense, au frontispice duquel on lisait: «Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d'y entrer, et vous y serez encore quand vous en sortirez».

Diderot. Jacques Le Fataliste et son Maître (1769)[12]

Мое имя — Александр Ферри. В нем слышатся отзвуки битв, но ни победная сталь, ни великая тень македонца — по выражению автора «Надгробий», почтившего меня своей дружбой, — не имеют ни малейшего касательства к непримечательному седому человеку, царапающему эти строки в одном из верхних этажей особняка на улице Сантьяго-дель-Эстеро в южных кварталах столицы, где уже нет ничего от Юга. Мне за семьдесят и вот-вот станет на год больше; я преподаю английский нескольким желающим. Из застенчивости, легкомыслия или по иным причинам я

---

[12] Примечания: 12

Направились они к огромному замку, на фронтоне которого красовалась надпись: «Я не принадлежу никому и принадлежу всем. Вы бывали там прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйдете». — Дидро. Жак-фаталист и его Хозяин (1769) (*фр.*; перевод Г. Ярхо).

вовремя не женился и живу один. Одиночество меня не мучит, ведь на себя и собственные слабости уходит столько сил. Замечаю, что начал стареть: первый признак — потеря внимания и интереса к новостям, в которых не вижу, по сути, ничего, кроме достаточно небогатых вариаций. В молодости меня увлекали закаты, пригороды и отчаяние, теперь — рассветы в центре и покой. Больше не играю Гамлета. Стал членом Консервативной партии и одного шахматного клуба, куда захаживаю исключительно как зритель, порою неравнодушный. Любопытные могут откопать где-то среди сумрачных полок Национальной библиотеки на улице Мехико экземпляр моего «Краткого обзора аналитического языка Джона Уилкинса», который следовало бы переиздать хотя бы для того, чтобы выправить или по меньшей мере проредить бесчисленные опечатки. Говорят, новый директор библиотеки — литератор, отдающийся изучению древних языков, будто нынешние для него недостаточно стары, и напыщенному преклонению перед выдуманным Буэнос-Айресом, прибежищем поножовщиков. Никогда не искал с ним знакомства. Я появился в столице в 1899 году, и случай только раз столкнул меня с поножовщиком или слывшим за такового.

Будет время, я еще расскажу об этом.

Я уже говорил, что одинок; на днях сосед по этажу, слыхавший от меня о Фермине Эгурене, передал, что тот скончался в Уругвае, в Пунта-дель-Эсте.

Смерть человека, который вовсе не был мне другом, тем не менее опечалила меня. Теперь я знаю, что совершенно одинок: я единственный в мире хранитель всего происшедшего — Конгресса, память о котором ни с кем не могу разделить. Я последний из его участников. Конечно, участники его — все люди на свете, других на земле просто нет, но все-таки я на особом счету. Я знаю о своем участии, чем и отличаюсь от несчетных соратников, нынешних и грядущих. Правда, 7 февраля 1904 года мы поклялись всем святым — а есть ли на земле что святое или, напротив, то, что не свято? — не раскрывать историю Конгресса, но столь же твердо могу сказать, что и сегодняшнее мое клятвопреступничество входит в его историю. Это заверение звучит не слишком вразумительно, зато, надеюсь, разожжет любопытство моих возможных читателей.

Как бы там ни было, я беру на себя непростую задачу. Мне никогда, даже в письмах, не случалось прибегать к повествовательному жанру.

Кроме того — и это самое важное! — моя история совершенно невероятна. Для нее подошло бы перо Хосе Фернандеса Иралы, несправедливо забытого автора книги стихов «Надгробья», но теперь уже поздно. Постараюсь не искажать факты сознательно, но боюсь, что по беспечности и неопытности совершу ошибку — и не одну.

Не вижу смысла в точных датах. Напомню только, что приехал из моей родной провинции Санта-Фе в 1899 году. Назад я уже никогда не возвращался, свыкшись с Буэнос-Айресом, нимало меня не привлекавшим, как свыкаются с собственным телом или застарелым недугом. Без особых чувств думаю о том, что скоро умру; кстати, еще и поэтому пора перестать отвлекаться и перейти наконец к рассказу.

Годы не меняют нашей сути, если она у нас вообще есть: та же сила, что привела меня однажды вечером на Всемирный Конгресс, куда раньше указала мне путь в редакцию «Последних известий». Жизнь газетчика представлялась бедному юнцу из провинции самой романтикой — точно так же, как бедному столичному юнцу — жизнь гаучо или поденщика в усадьбе. Не стыжусь своей мечты стать газетчиком, хотя сегодня это рутинное занятие и кажется мне пресным. Помню,

мой коллега Фернандес Ирала говаривал, будто газетчик адресуется к забвенью, он же хотел бы обращаться к памяти и вечности. В то время он уже, как было принято выражаться, чеканил сонеты, которые поздней с незначительными доделками появились на страницах «Надгробий».

Не могу сказать точно, когда я услышал о Конгрессе. Может быть, в тот вечер, как наш кассир впервые отсчитал мне жалованье и я, решив отметить начало полноправной жизни в столице, пригласил Иралу поужинать. Тот извинился, сказав, что не может пожертвовать Конгрессом. Я сразу понял, что речь не об аляповатом здании с куполом в глубине улочки, населенной испанцами, а о вещах гораздо более потаенных и важных. О Конгрессе упоминали в разговорах: одни — с откровенным ехидством, другие — вполголоса, третьи — с беспокойством или интересом, но все, как я понял, с чужих слов. Спустя неделю-другую Ирала пригласил меня отправиться вместе. Необходимые формальности, сообщил он, улажены.

Было девять-десять вечера. В трамвае Ирала рассказал, что предварительные обсуждения проводятся по субботам и что дон Алехандро Гленкоэ, может быть тронутый совпадением наших имен, уже подписал мои бумаги. Мы вошли

в кондитерскую Гаса. Человек пятнадцать — двадцать участников сидели за большим столом; не знаю, была ли сцена или ее надстроила память. Председателя я угадал с первого взгляда, хотя не видел ни разу. Дон Алехандро, господин в летах, с умным лицом, серыми глазами и седеющей рыжеватой бородкой, держался с достоинством. Каждый раз я видел его в темном сюртуке. Сидя, он скрещивал пальцы, опираясь на набалдашник трости. Он был крепкого сложения и высокого роста. Слева сидел человек намного моложе, также рыжеволосый, но его яркая рыжина напоминала огонь, тогда как бородка дона Алехандро — скорее опаль. Сосед справа был длиннолиц, с пугающе низким лбом, с иголочки одет. Все заказали кофе, кое-кто — полынной. Мне сразу бросилось в глаза присутствие женщины, единственной среди стольких мужчин. На другом конце стола сидел мальчик в матроске, лет десяти, он вскоре заснул. Был еще протестантский пастор, два явных еврея и негр с шелковым платком на шее, щеголявший, на манер здешних сорвиголов из забегаловки, костюмом в обтяжку. Перед негром и мальчиком стояло по чашке шоколада. Больше не помню никого, кроме господина Марсело дель Масо, обходительного человека и проникновенного

собеседника, которого, к сожалению, позже не встречал. У меня сохранилась скверная истертая фотография одного из собраний, которую я не рискну обнародовать, поскольку костюмы того времени, тогдашние прически и усы придают присутствующим какой-то шутовской, даже затрапезный вид, совершенно извращая смысл сцены. Любое сообщество порождает свой язык и свои обряды. Ритуал Конгресса, так и оставшегося для меня чем-то вроде сна, требовал, насколько помню, чтобы участники не торопились раскрывать свои цели и имена соратников. Я довольно скоро сообразил, что моя задача — никого и ни о чем не спрашивать, почему и не беспокоил Фернандеса Иралу, который, в свою очередь, не спешил поделиться со мной. Я не пропускал ни одной субботы, но лишь через несколько месяцев начал разбираться в обстановке. Со второй встречи моим соседом по столу оказался Дональд Рен, инженер с Южной железной дороги, начавший давать мне уроки английского.

Дон Алехандро не отличался многословьем; остальные не адресовались к нему напрямую, но говорили, чувствовалось, для него и в расчете на его одобрение. Довольно было неторопливого взмаха руки, чтобы тема диспута тут же смени-

лась. Мало-помалу я узнал, что человек слева от председателя носит чудное имя Туирл[13]. Помню его неуверенный вид, часто отличающий людей большого роста, которые пригибаются, словно боясь высоты. Он любил поигрывать медной буссолью, нередко забывая ее на столе. В конце 1914 года он погиб рядовым ирландского пехотного полка. Тот же, что обычно сидел справа, юноша со скошенным лбом по имени Фермин Эгурен, оказался племянником председателя. Не верю в реалистический метод (самый искусственный из возможных) и предпочитаю изложить разом то, что понимал лишь постепенно. Но прежде хочу еще раз напомнить читателю мое тогдашнее положение: нищий юнец из захолустного селения Касильда, сын фермеров, я приехал в Буэнос-Айрес и вдруг очутился, насколько мог понять, в тайном средоточии столицы, а может быть, кто знает, и всего мира. Прошло полвека, но я и сегодня чувствую, как у меня вначале — и далеко не в последний раз — буквально темнело в глазах.

Изложу только факты, и как можно короче. Наш председатель, дон Алехандро Гленкоэ, был уругвайским помещиком и владел землей на гра-

---

[13] Примечания: 13
Хвостик, завитушка (*англ.*).

нице с Бразилией. Его отец, родом из Абердина, обосновался на нашем континенте в середине прошлого века. Он привез с собой сотню книг, которые, вынужден признать, дон Алехандро только и прочел за всю жизнь. (Упоминаю о разных книгах, которые сам держал в руках, поскольку в одной из них — начало моей истории.) Скончавшись, первопоселенец оставил дочь и сына — впоследствии нашего председателя. Дочь же вышла замуж за одного из семейства Эгурен и стала матерью Фермина. Однажды дон Алехандро попытался пройти в депутаты, но власти закрыли перед ним двери в уругвайский конгресс. Тогда он взорвался и решил основать свой Конгресс, придав ему самые широкие полномочия. Он вспомнил описанную на одной из огнедышащих страниц Карлейля судьбу некоего Анахарсиса Клотца, фанатика богини Разума, который возглавил тридцать шесть чужестранцев и объявил себя перед Парижской ассамблеей «глашатаем рода человеческого». Вдохновленный его примером, дон Алехандро замыслил создать Всемирный Конгресс, представляющий людей всех наций. Местом предварительных собраний стала кондитерская Гаса; акт открытия, на подготовку которого отвели четыре года, планировался в

резиденции дона Алехандро. Он, как и многие уругвайцы, не принадлежал к приверженцам Артигаса, любил Буэнос-Айрес, но предпочел собрать Конгресс у себя на родине. Забавно, что назначенные сроки исполнились прямо-таки с невероятной точностью.

Вначале каждый из нас получал некоторую твердую сумму на представительские расходы, но потом одушевивший всех пыл подвигнул Фернандеса Иралу, нищего, как и я, отказаться от денег, что немедленно повторили другие. Мера оказала свое благотворное действие, отделив овец от козлищ: число участников сократилось, и остались лишь самые верные. Оплату сохранили только нашему секретарю Норе Эрфьорд, не располагавшей иными доходами и заваленной обязанностями. Организовать сообщество представителей всего мира — задача не из простых. Письма и телеграммы буквально сновали туда и обратно. О своем согласии уведомили представители Перу, Дании и Индостана. Некий боливиец сообщил, что его родина полностью отрезана от моря, и выдвинул предложение обсудить этот плачевный изъян в рамках ближайшей встречи.

Туирл, приверженец ясности, объявил, что перед Конгрессом стоит проблема философского

свойства. Обеспечить представительство всех людей на свете — то же самое, что определить точное число платоновских архетипов, а эта загадка заводила в тупик мыслителей не одного столетия. Скажем, дон Алехандро, чтобы не ходить далеко за примером, может представлять землевладельцев, но, кроме того, еще и уругвайцев, и великих предтеч, и рыжебородых, и восседающих в кресле. А Нора Эрфьорд? Она из Норвегии. Так будет ли она представлять секретарей, норвежек или попросту милых дам? Достаточно ли одного инженера, чтобы представить всех, включая новозеландцев?

По-моему, на этом месте и вклинился Фермин.

— Ферри будет представлять макаронников, — бросил он, осклабясь.

Дон Алехандро сурово глянул на него и с расстановкой заметил:

— Господин Ферри будет представлять иммигрантов, поднимающих своими трудами уровень страны.

Фермин Эгурен меня терпеть не мог. У него, как ему казалось, было чем кичиться: уругваец, да еще урожденный, любимец дам, клиент дорогостоящего портного и — уж не знаю, что тут замечательного, — потомок басков, народа,

который, на мой взгляд, только тем и занимался на обочинах истории, что доил коров.

Пустячный случай усугубил нашу вражду. После одного из собраний Эгурен предложил повеселиться где-нибудь на улице Хунин. Я не видел в том ничего интересного, но согласился, чтобы не подставляться под его обычные издевки. Мы с Фернандесом Иралой держались рядом. Уже выходя из заведения, наша компания столкнулась с каким-то верзилой. Слегка перебравший Эгурен отодвинул его. Тот загородил путь и бросил:

— Кто хочет выйти, пусть попробует вот этого.

Помню, как в темном подъезде блеснул нож. Эгурен в ужасе отпрянул. Мне было не по себе, но отвращение пересилило страх. Я сунул руку за борт пиджака, словно нащупывая оружие, и твердо сказал:

— Выйдем на улицу.

Незнакомец ответил уже другим голосом:

— Вот такие парни по мне. Проверка, приятель.

Он от души расхохотался.

— Мои приятели думают, когда говорят, — отчеканил я, и мы вышли.

Человек с ножом двинулся в зал. Потом мне объяснили, что его зовут Тапиа, Паредес или что-

то в этом роде и что он известный задира. Уже на улице Ирала, который держался спокойно, хлопнул меня по плечу и воскликнул:

— Из нас троих ты один — настоящий мушкетер. Да здравствует д'Артаньян!

Фермин Эгурен так и не смог забыть, что я оказался свидетелем его позора.

Собственно, сейчас — и только сейчас — начинается история. На предыдущих страницах описаны лишь условия, которые потребовались удаче или судьбе, чтобы произошло самое невероятное и, скорее всего, единственное событие всей моей жизни. Дон Алехандро всегда был в центре собраний, но мало-помалу мы с удивлением и тревогой стали понимать, что настоящий наш председатель — Туирл. Этот редкостный тип с пламенными усами заискивал перед Гленкоэ и даже перед Фермином Эгуреном, но так шаржированно, что это походило на карикатуру и не роняло достоинства. Гленкоэ гордился своим богатством, и Туирл сообразил, что для успеха любого проекта достаточно объявить, будто расходы на него, увы, нам не по силам. Вначале, насколько понимаю, Конгресс был всего лишь малопонятным словом; Туирл раз за разом предлагал ставить дело на все более широкую ногу, и

дон Алехандро неизменно соглашался. Мы словно оказались в центре растущего до бесконечности круга. Например, Туирл заявил, что Конгрессу не обойтись без библиотеки справочных изданий; служивший в книжной лавке Ниренштейн стал посылать нам атласы Юстуса Пертеса и различные объемистые энциклопедии, начиная от «Historia naturalis»[14] Плиния и «Speculum»[15] Винцента из Бове до пленительных лабиринтов (в мыслях произношу эти слова голосом Фернандеса Иралы) прославленных французских энциклопедистов, «Британники», Пьера Ларусса, Брокгауза, Ларсена, Монтанера и Симона. Помню, как благоговейно гладил переплетенные в шелк тома некоей китайской энциклопедии, чьи заботливо выведенные значки казались мне таинственней пятен на шкуре леопарда. Тогда я не мог предвидеть конца, который их постиг, о чем, впрочем, нимало не сожалею.

Дон Алехандро выделял среди других Фернандеса Иралу и меня, вероятно, потому, что мы одни перед ним не угодничали. Однажды он пригласил нас погостить несколько дней в его

---

[14] Примечания: 14
«Естественная история» (*лат.*).

[15] Примечания: 15
«Зерцало» (*лат.*).

усадьбе «Каледония», которую уже отделывали поденщики-каменотесы.

После долгого плавания вниз по реке и переправы на плоту мы ступили поутру на другой берег залива. Потом нам пришлось ночевать на убогих постоялых дворах, отпирать и запирать калитки оград в Кучилья-Негра. Мы ехали в коляске; равнина показалась мне просторней и безлюдней, чем у нас на ферме.

От усадьбы у меня остались два воспоминания: то, что я рисовал себе вначале, и что увидел потом. Неизвестно, почему мне, будто сквозь сон, чудилось какое-то невероятное сочетание полей в Санта-Фе с дворцом в Агуас-Коррьентес. А на самом деле «Каледония» представляла собой вытянутый дом из сырца с двускатной крышей и выложенной изразцами галереей. Складывалось впечатление, что строили ее в расчете на суровый климат и долгие годы. Стены были едва ли не в метр толщиной, двери похожи на бойницы. Никому и в голову не пришло посадить хоть какую-то зелень. Рассветы и закаты били прямо в окна. Загоны были каменные, несчетные коровы — худы и рогасты, спутанные хвосты лошадей волочились по земле. Я впервые попробовал парного мяса. Работники таскали в торбах сухари;

приказчик как-то обмолвился, что в жизни не ел свежего хлеба. Ирала спросил, где можно помыться; дон Алехандро широким жестом обвел горизонт. Ночью светила огромная луна; я вышел пройтись и остолбенел, увидев ее под охраной страуса-нанду.

Не спадавшая за ночь жара донимала нестерпимо, мы превозносили прохладу. Комнат было много, все с низким потолком, необитаемые на вид. Мы выбрали одну окнами на юг с двумя койками, комодом, умывальным тазом и кувшином из серебра. Полы были земляные.

Наутро я отправился в библиотеку и отыскал в томах Карлейля страницу, посвященную глашатаю рода человеческого Анахарсису Клотцу, который подарил мне это утро и это одиночество. После завтрака, такого же, как ужин, дон Алехандро пригласил нас посмотреть, как идет стройка. Лигу мы проскакали верхом по полю. Ирала, с опаской влезший на коня, еле дотерпел. Приказчик, не меняясь в лице, отметил:

— Отлично спешился горожанин.

Стройка была видна издалека. Человек двадцать мужчин возводили что-то вроде руин амфитеатра. Помню леса и ступени, между которыми синело небо.

Несколько раз я пробовал разговориться с гаучо, но все понапрасну. Они чувствовали во мне чужака. Между собой — да и то нечасто — они употребляли испанский, огнусавленный на бразильский манер. В них, бесспорно, смешалась индейская и негритянская кровь. Все были крепкие, кряжистые; в «Каледонии» я впервые в жизни оказался рослым. Большинство носили чирипá, некоторые — бомбачи. Практически никто не походил на раздавленных бедой героев Эрнандеса или Рафаэля Облигадо. По субботам после выпитого свирепели от пустяка. Я не видел ни одной женщины и ни разу не слышал гитары.

Но больше, чем люди этого пограничья, меня поразила полная перемена в доне Алехандро. В столице он был обходительным, сдержанным господином, в «Каледонии» — суровым, как его предки, вождем рода. По воскресеньям он с утра читал Писание не понимавшим ни слова пеонам. Как-то вечером приказчик, молодой парень, унаследовавший должность отца, доложил, что один из арендаторов схватился на ножах с поденщиком. Дон Алехандро без спешки поднялся. Он подошел к сборищу, снял оружие, с которым обычно не расставался, передал его заметно трусившему приказчику и шагнул между сопер-

никами. Я услышал приказ:

— Бросьте ножи, парни. — Тем же спокойным голосом он добавил: — Давайте друг другу руки и расходитесь. И чтобы никаких склок.

Ему подчинились. Наутро я узнал, что приказчика рассчитали.

Я чувствовал, как одиночество затягивает меня. Порой становилось страшно, что я уже не вернусь в Буэнос-Айрес. Не знаю, что испытывал Фернандес Ирала, но мы вдруг стали подолгу разговаривать об Аргентине и о том, что станем делать, возвратившись. Вспоминались львы у парадного в доме на улице Жужуй, рядом с площадью Онсе, фонарь над каким-то кабачком, но привычные места — никогда.

Я с детства был хорошим наездником; здесь я завел обыкновение по многу часов прогуливаться верхом. У меня и сейчас перед глазами вороной, которого я чаще других седлал: думаю, он уже сдох. Кажется, как-то вечером или ближе к ночи я оказался в Бразилии; границу отмечали просто межевыми камнями.

Мы уже потеряли счет дням, когда однажды, обычным вечером, дон Алехандро предупредил:

— Ложитесь пораньше. На заре выезжаем.

Плывя вниз по реке, я был так счастлив, что с

нежностью думал даже о «Каледонии».

Субботние собрания возобновились. Уже на первом слово взял Туирл. Рассыпая обычные цветы риторики, он провозгласил, что библиотека Всемирного Конгресса не вправе ограничиваться справочными изданиями: классическая словесность всех стран и народов составляет истинное свидетельство времени, и пренебрежение ею не может пройти безнаказанно. Доклад был одобрен. Фернандес Ирала и преподаватель латыни доктор Крус взяли на себя отбор необходимых текстов. С Ниренштейном Туирл уже обсудил вопрос предварительно.

Вряд ли существовал в ту пору аргентинец, который не чаял найти в Париже землю обетованную. Вероятно, самым нетерпеливым из нас был Фермин Эгурен, за ним, но по иным резонам, следовал Фернандес Ирала. Для автора «Надгробий» Париж означал Верлена и Леконта де Лиля, для Эгурена — усовершенствованное продолжение веселых кварталов по улице Хунин. Здесь он, подозреваю, нашел общую почву с Туирлом. По крайней мере, следующий раз тот вынес на обсуждение проблему языка, на котором предстоит общаться членам Конгресса, и предложил отправить для сбора соответствующей информа-

ции двух делегатов — в Лондон и Париж. Ради показной беспристрастности он назвал первым кандидатом меня, а вторым, после мгновенной запинки, своего друга Эгурена. Дон Алехандро, по обыкновению, согласился.

Кажется, я уже писал, что в обмен на несколько уроков итальянского Рен посвятил меня в бездны английского языка. Насколько возможно, мы обходились без учебников грамматики и специальных упражнений для новичков, прямо перейдя к стихам, чья форма требует краткости. Первой встречей с языком, наполнившим мою жизнь, стал мужественный «Реквием» Стивенсона, потом пришел черед баллад, открытых Перси для благопристойного восемнадцатого столетия. Перед отъездом в Лондон я узнал очарование Суинберна и с той поры, втайне чувствуя вину, усомнился в достоинствах александрийских строк Иралы.

Я приехал в Лондон в начале января 1902 года. Вспоминаю первую ласку снега, которого в жизни не видел и с тех пор не могу забыть. К счастью, наши пути с Эгуреном разошлись. Я устроился в недорогом пансионате на задворках Британского музея, в чьей библиотеке просиживал утра и вечера, отыскивая наречье, достойное Всемирного

Конгресса. Не обходил я и универсальных языков: бредил эсперанто, который в «Календаре души» назван «беспристрастным, кратким и простым», и волапюком, вознамерившимся исчерпать все мыслимые возможности языка, склоняя глаголы и спрягая существительные. Обдумывал доводы в пользу и против воскрешения латыни, ностальгические воспоминания о которой передаются от столетия к столетию. И с головой ушел в обзор аналитического языка Джона Уилкинса, где смысл каждого слова определяется составляющими его буквами. Здесь, под высоким куполом читального зала, я и познакомился с Беатрис.

Я пишу общую историю Всемирного Конгресса, а не свою личную, однако первая включает в себя вторую, как и все прочие. Беатрис была высокой, гибкой, с тонкими чертами и огненной шевелюрой, которая могла бы напомнить — но не напоминала — мне о клонящемся Туирле. Ей не сравнялось и двадцати. Она покинула одно из северных графств ради занятий филологией в Лондонском университете. Мы с ней оба не отличались блеском родословной. Быть итальянкой по крови в Буэнос-Айресе все еще зазорно, но в Лондоне многие, как она узнала, видят в этом даже что-то романтическое. Спустя несколько

вечеров мы стали близки. Я предлагал ей руку и сердце, однако Беатрис Фрост, как и Нора Эрфьорд, хранила верность заветам Ибсена и не желала связывать свою свободу. От нее я услышал слово, которое так и не решился произнести сам. О эти ночи, их теплый, один на двоих, полумрак, о любовь, незримой рекой струящаяся в темноте, о миг счастья, когда каждый вмещает обоих, незатейливое, безмятежное счастье, о эта близость, которой мы забывались, чтобы забыться сном, о первые проблески утра и я, не сводящий с нее открывшихся глаз.

На суровой бразильской границе я умирал от ностальгии, но совершенно не чувствовал ее в кирпичном лабиринте Лондона, подарившем мне столько дорогого. Под разными предлогами я откладывал отъезд до самого конца года. Мы собрались встретить Рождество вместе. Я обещал Беатрис, что добьюсь для нее от дона Алехандро приглашения вступить в Конгресс. Она, не вдаваясь в детали, ответила, что давно хотела повидать Южное полушарие и что ее двоюродный брат, зубной врач, обосновался на Тасмании. Она не пошла провожать меня до пристани, считая прощание высокопарным, бессмысленным празднеством несчастья и не вынося никакой

высокопарности. Мы расстались в библиотеке, где встретились год назад. Я слабодушен и не дал ей адреса, чтобы не мучиться, ожидая писем.

Я замечал, что обратный путь короче прямого, но это плавание через Атлантику, омраченное воспоминаниями и тревогами, показалось мне куда дольше прежнего. Мучительней всего было знать, что параллельно моей жизни — минута в минуту и ночь в ночь — Беатрис живет своею. Я написал ей многостраничное письмо, которое порвал, когда мы отчалили от Монтевидео. Я прибыл на родину в четверг, на пристани меня ждал Ирала. Мы вернулись в мою старую квартиру на улице Чили, проведя этот и следующий день за разговорами и прогулками. Мне хотелось снова надышаться Буэнос-Айресом. К моему облегчению, Фермин Эгурен все еще оставался в Париже: возвратившись раньше, я, казалось, как-то смягчал слишком долгое отсутствие.

Ирала пребывал в отчаянии. Фермин транжирил в Европе чудовищные суммы и упорно игнорировал все приказания немедленно возвращаться. Иного, впрочем, я и не ждал. Куда больше меня тревожило другое: в противовес Ирале и Крусу Туирл воскресил максиму Плиния Младшего, полагавшего, будто нет такой скверной книги,

которая не заключала бы в себе хорошего. А потому он настоял на приобретении всех без изъятия номеров газеты «Печать», трех тысяч четырехсот экземпляров «Дон Кихота», собрания писем Бальмеса, университетских дипломов, бухгалтерских счетов, лотерейных билетов и театральных программок. Все это суть свидетельства своего времени, провозгласил он. Ниренштейн выступил в его поддержку; дон Алехандро «после трех громогласных суббот» одобрил предложение. Нора Эрфьорд отказалась от должности секретаря, ее место занял новичок по фамилии Карлинский, игрушка в руках Туирла. И теперь огромные присланные пакеты без каталогизации и обработки громоздились в задних комнатах и холостяцкой кладовой дона Алехандро. В начале июля Ирала еще неделю гостил в «Каледонии»; каменотесы бросили работу на середине. Приказчик на все расспросы отвечал, будто таково распоряжение хозяина и что, если у него теперь чего вдоволь, так это времени.

В Лондоне я подготовил отчет, но не о нем сейчас речь. В пятницу я с визитом и текстом отправился к дону Алехандро. Меня сопровождал Фернандес Ирала. День клонился к закату, по дому разгуливал юго-западный ветер. Перед

воротами со стороны улицы Альсина торчала запряженная тройкой повозка. Я увидел гнущихся под тюками людей, сносивших груз в дальний дворик, ими самовластно распоряжался Туирл. Как будто что-то предчувствуя, в доме собрались и Нора Эрфьорд, и Ниренштейн, и Крус, и Дональд Рен, и кто-то еще из участников. Нора обняла и поцеловала меня, напомнив совсем другую. Негр, кланяясь и лучась, приложился к моей руке.

В одной из комнат квадратной дырой зиял вход в подвал. Каменные ступени терялись во тьме.

Вдруг послышались шаги. Я сразу понял, что это дон Алехандро. Он буквально влетел.

Голос его изменился: перед нами был не тот владеющий собой господин, что председательствовал на наших субботних заседаниях, и не богатый скотовладелец, кладущий конец ножевой драке и декламирующий своим пастухам Слово Божие, хотя, пожалуй, все-таки ближе ко второму.

Ни на кого не глядя, он приказал:

— Книги из подвала тащите во двор. Все до последней.

Мы трудились около часа. В конце концов на земле дворика вырос высоченный штабель из книг. Все сновали туда и обратно, лишь дон Але-

хандро не шелохнулся.

Последовал новый приказ:

— Поджигайте.

У Туирла в лице не было ни кровинки. Ниренштейн пробормотал:

— Всемирному Конгрессу не обойтись без этих бесценных пособий, я отбирал их с такой любовью.

— Всемирному Конгрессу? — переспросил дон Алехандро. Он едко рассмеялся, я в первый раз услышал его смех.

В разрушении есть странная радость; языки огня с треском взвились, и мы, стоя у стен или разойдясь по комнатам, вздрагивали. Скоро во дворике остались лишь ночь, вода и запах горелого. Помню несколько уцелевших страниц, они белели на земле. Нора Эрфьорд, питавшая к дону Алехандро нежность, которую испытывают молоденькие девушки к солидным мужчинам, бросила в пустоту:

— Дон Алехандро знает, как поступать.

Литератор до мозга костей, Ирала афористично отчеканил:

— Александрийскую библиотеку подобает сжигать раз в несколько столетий.

И тогда дона Алехандро прорвало:

— То, что я скажу, мне нужно было понять четыре года назад. Наш замысел так огромен, что вбирает в себя — теперь я это знаю — весь мир. Дело не в кучке шарлатанов, которые оглушают друг друга речами под навесом забытой Богом усадьбы. Всемирный Конгресс начался вместе с мирозданьем и будет жить, когда все мы уже обратимся в прах. Он — повсюду. Конгресс — это сожженные нами книги. Конгресс — это каледонцы, громившие легионы Цезарей. Конгресс — это Иов среди гноища и Иисус на кресте. Конгресс — это никчемный сопляк, просаживающий мое состояние с последней шлюхой.

Я не смог удержаться и прервал его:

— Дон Алехандро, я тоже виноват. Я давным-давно подготовил отчет, который принес только сегодня, и, транжиря ваши деньги, пропадал в Англии, потому что влюбился.

Дон Алехандро продолжал:

— Я так и предполагал, Ферри. Конгресс — это мои быки. Конгресс — это быки, которых я продал, и земли, которые мне больше не принадлежат.

Тут вклинился пронзительный голос Туирла:

— Вы хотите сказать, что продали «Каледонию»?

Дон Алехандро, помолчав, ответил:

— Да, продал. Теперь у меня нет ни клочка земли, но я не раздавлен крахом, потому что понял. Вероятно, мы уже не увидимся, поскольку нужды в нашем Конгрессе больше нет. Но сегодня ночью мы в последний раз отправимся вместе посмотреть на Конгресс.

Он был просто пьян от восторга. Нас тронули его откровенность и пыл. Никому даже в голову не пришло, что он не в себе.

На площади наняли шарабан. Я устроился на козлах рядом с возницей, и дон Алехандро скомандовал:

— Проедемся по городу, хозяин. Вези куда глаза глядят.

Негр, прилепившись на подножке, всю дорогу улыбался. Не знаю, понимал ли он, что происходит.

Слова — это символы, они требуют общих воспоминаний. Сегодня я могу рассказать только свои, мне больше не с кем разделить их. Мистики говорят о розе или поцелуе, о птице, в которой все птицы на свете, и солнце, вобравшем в себя звезды и солнце разом, о чаше вина, саде или любовном соитии. Ни одна из этих метафор не подойдет, чтобы описать бесконечную ночь ликования, вынесшую нас, усталых и счастливых,

на берег зари. Мы почти не разговаривали, лишь колеса и подковы звучали на камнях мостовой. Перед рассветом у темных и безропотных вод то ли Мальдонадо, то ли Риачуэло Нора Эрфьорд низким голосом затянула балладу о Патрике Спенсе, и дон Алехандро подхватил, не в лад повторяя то одну, то другую строку. Английские слова не отозвались во мне образом Беатрис. Туирл за спиной пробормотал:

— Я зла желаю, а несу добро.

Наверное, что-то из виденного тогда живо и сегодня: красноватый вал кладбища «Реколета», желтая стена тюрьмы, двое мужчин в забегаловке, танцующих без музыки, дворик, по-шахматному расчерченный решеткой ограды, железнодорожный шлагбаум, мой дом, рынок, бездонная влажная ночь, но смысл заключался не в этих беглых деталях, они могли быть иными. Самое важное, что мы как один почувствовали: наш вымысел, над которым каждый не раз посмеивался, неопровержимо и потаенно существует — это весь мир и мы в нем. Безнадежно я долгие годы искал потом ощущение той ночи; порой оно словно бы воскресало в музыке, любви, смутном воспоминании, но по-настоящему вернулось лишь однажды утром, во сне. В час нашей клятвы

— не обмолвиться ни словом ни единому человеку — уже наступила суббота.

Больше я никогда не виделся ни с кем, только с Иралой. В разговорах мы не возвращались к тем временам, любое слово о них звучало бы кощунством. В 1914 году дон Алехандро Гленкоэ умер, его похоронили в Монтевидео. Ирала скончался годом раньше.

С Ниренштейном мы однажды столкнулись на Лимской улице и сделали вид, что не узнаем друг друга.

«There are more things»[16]

Памяти Говарда Ф. Лавкрафта

Выдержав последний выпускной экзамен в Техасском университете в Остине, я получил известие, что в латиноамериканской глуши скончался от аневризмы мой дядюшка Эдвин Арнетт. При встрече с чужой смертью каждый предается бесплодным сожаленьям, укоряя себя за прежнее бессердечие. Люди забывают, что они — мертвецы, ведущие беседы с мертвецами. В университете я изучал философию; помню, как дядюшка, не прибегая к авторитетам, раскрывал передо мною ее дивные головоломки в Красной Усадьбе, неподалеку от Холмов. С помощью поданного на десерт апельсина он посвятил меня в идеализм Беркли; шахматной доски хватило для ознакомления с парадоксами элеатов. Позже именно он дал мне прочесть труды Хинтона, задавшегося целью доказать реальность четвертого измерения, в чем читатель должен был удостовериться на примере хитроумных фигур из цветных кубиков. У меня и сейчас еще в памяти

---

[16] Примечания: 16
Есть многое на свете (*англ.*).

призмы и пирамиды, которые мы сооружали тогда на полу кабинета.

Дядюшка служил инженером на железной дороге. Накануне отставки он принял решение поселиться в Турдере с ее почти деревенским уединением неподалеку от Буэнос-Айреса. Неудивительно, что постройку дома он поручил своему ближайшему другу Александру Мюиру. Этот суровый человек исповедовал суровое учение Нокса, дядюшка же, по обычаю благородного большинства той эпохи, считал себя вольнодумцем, или, точнее, агностиком, интересуясь, однако, теологией, как интересовался коварными кубиками Хинтона и обдуманными кошмарами молодого Уэллса. Обожая собак, он присвоил своей громадной овчарке в память о родном и далеком Личфилде кличку Сэмюэл Джонсон.

Красная Усадьба стояла на всхолмье, окруженном уходящими к самому горизонту заливными лугами. Дом, несмотря на араукарии вдоль ограды, сохранял мрачный вид. Вместо обычной плоской крыши его стены и крохотные окна были приплюснуты двускатной черепичной кровлей и квадратной башенкой с курантами. Ребенком я свыкся с этим уродством, как свыкаешься со всеми несообразностями, которые лишь в силу

простого сосуществования зовутся миром.

Я вернулся на родину в 1921 году. Дом, во избежание судебной волокиты, пустили с торгов; он достался какому-то чужаку по имени Макс Преториус, предложившему вдвое больше предельной цены. Подписав контракт, он приехал однажды под вечер с двумя подручными и свез в сточную канаву рядом с военной дорогой всю прежнюю мебель, книги и утварь. (С грустью вспоминаю диаграммы в томиках Хинтона и огромный глобус.) Наутро хозяин встретился с Мюиром и предложил кое-что перестроить в доме, на что тот ответил возмущенным отказом. В конце концов за дело взялась какая-то столичная контора. Местные столяры отказались заново обставлять особняк, и лишь некий Мариани из Глю принял условия Преториуса. Ему пришлось две недели напролет работать по ночам при закрытых ставнях. Ночью же в Красную Усадьбу въехал и новый владелец. Окна так и не отворялись, но по ночам можно было различить в пазах паутинки света. Как-то утром молочник наткнулся у ограды на обезглавленный и обезображенный труп овчарки. Зимой араукарии срубили. И никто больше не встречал Преториуса, который, видимо, покинул страну.

Подобные новости, понятно, не оставили меня равнодушным. Признаюсь, главная моя черта — любопытство: оно не раз толкало меня то в объятия абсолютно чужой женщины, только чтобы узнать ее ближе, то к попыткам (совершенно, отмечу, безрезультатным) найти удовольствие в опиуме, то к анализу бесконечно малых, то на опасные приключения, об одном из которых я сейчас расскажу. Итак, мне пришло в голову расследовать случившееся.

Первым шагом было отправиться к Александру Мюиру. Я помнил его рослым и смуглым, нешироким в кости, но на свой лад крепким; теперь он был согнут годами, черная борода поседела. Он принял меня в доме, неотличимом от жилища моего дядюшки, поскольку оба восходили к капитальной манере прекрасного поэта и скверного архитектора Уильяма Морриса.

Наш разговор вряд ли назвали бы задушевным; не зря символ Шотландии — репей. Однако я догадался, что крепкий цейлонский чай и бесчисленные scones[17] (которые хозяин, ломая, макал в топленое молоко с маслом и медом, словно я все еще оставался ребенком) были на самом деле

[17] Примечания: 17
Лепешки (*англ.*).

скромным пиршеством кальвиниста, которое он устроил племяннику старого друга. Их былые теологические споры напоминали настолько затянувшуюся шахматную партию, что у противников, казалось, уже нет иного выхода, кроме как действовать заодно.

Время шло, а я все не мог приступить к делу. Повисло неловкое молчание, Мюир заговорил:

— Молодой человек (Young man), — сказал он, — думаю, вы прибыли сюда не затем, чтобы поболтать об Эдвине или о Соединенных Штатах, чьи порядки, кстати, меня ничуть не занимают. Вас будоражит по ночам продажа Красной Усадьбы и ее странный покупатель. Меня тоже. Честно говоря, эта история мне не нравится, но расскажу все, что знаю. А знаю я, увы, немного.

Помолчав, он без спешки продолжил:

— Незадолго до смерти Эдвина его управляющий пригласил меня в контору. Там оказался и приходский священник. Они предложили мне сделать проект католической часовни. Я наотрез отказался. Я служу Создателю и не пойду на подобную мерзость: воздвигать алтари для идолопоклонства.

Он смолк.

— Это все? — решился я спросить.

— Нет. Этот грязный Преториус тоже хотел, чтобы я разрушил дом, который сам создал, и возвел на его месте нечто чудовищное. Мерзость многолика.

Он сурово выговорил эти слова и встал.

Сворачивая за угол, я столкнулся с Даниэлем Иберрой. Мы знали друг друга, как все в здешних краях. Он предложил пройтись. Меня никогда не занимали злодеи, и я уже предчувствовал серию пошлых, более или менее апокрифических и непременно кровавых историй для забегаловки, но уступил и принял приглашение. Почти стемнело. Когда издали на холме завиднелась Красная Усадьба, Иберра простился. Я спросил, в чем дело. Ответ поразил меня.

— Я правая рука у дона Фелипе. Слабаком меня еще никто не звал. Ты же помнишь того парня, Ургоити из Дроздов, как он со мной посчитаться хотел и что с ним стало. Так вот. Еду я как-то с вечеринки. И шагах в ста от имения чувствую: кто-то здесь есть. Мой серый в яблоках так и рванул, не удержи я его да не направь в колею, не было бы у нас сегодня разговора. Только вспомню, что мне тогда привиделось, кровь стынет.

И, выйдя из себя, он грязно выругался.

Этой ночью я не сомкнул глаз. Под утро мне

пригрезился рисунок в манере Пиранези, я его никогда не видел, а если и видел, то позабыл: он изображал лабиринт. Каменный амфитеатр в окружении кипарисов, он возвышался над их верхушками. Ни дверей, ни окон — лишь бесконечная вереница скважин по вертикали. Я пытался разглядеть минотавра в подзорную трубу. Наконец я его увидел. Это было чудовище из чудовищ: на земле растянулся человек с головою даже не быка, а скорее бизона и, казалось, спал и грезил. О чем или о ком?

Вечером я прошел мимо Усадьбы. Ворота были на запоре, прутья решетки прогнуты. Старый сад зарос бурьяном. Справа тянулся неглубокий, истоптанный по краям ров.

Оставался еще один вариант, но я не хотел спешить — и не только из-за его бесполезности, но и потому, что за ним ждал неизбежный и последний шаг.

Без особых надежд я отправился в Глю. Столяр Мариани оказался дородным и цветущим итальянцем, уже в летах, приветливым и заурядным. Стоило лишь посмотреть на него, чтобы разом отбросить все придуманные накануне уловки. Я вручил ему визитную карточку, которую он во весь голос торжественно прочел, с почтением

поклонившись на слове «доктор». Я пояснил, что интересуюсь обстановкой, которую он изготовил для дома моего дядюшки в Турдере. Его как прорвало. Я даже не пытался записать все эти нескончаемые и усиленные жестами слова, когда он вдруг объявил, что любое, пусть самое невероятное желание клиента — для него закон и что работал он в точности по заказу. Порывшись в разных ящиках, он сунул мне какие-то непонятные бумаги, подписанные неуловимым Преториусом. (Видимо, меня сочли адвокатом.) Прощаясь, он уверял, что за все золото мира не вернулся бы в Турдеру, а особенно — в имение. Слово клиента священно, добавил он, но, по его скромному мнению, господин Преториус — сумасшедший. Потом, словно застыдившись, он смолк. Больше я не сумел вытянуть из него ни слова.

Подобный результат я предвидел, но одно дело — предвидеть и совсем другое — добиться.

Много раз я говорил себе, что единственная тайна — это время, бесконечное переплетение прошлого, настоящего и будущего, всегда и никогда. Но все мои самоуглубленные размышления ни к чему не вели: посвятив очередной вечер штудиям Шопенгауэра или Ройса, я ночь за но-

чью бродил все по тем же дорогам вокруг Красной Усадьбы. Иногда я различал наверху более яркий свет, порой слышался стон. Так продолжалось до девятнадцатого января.

Это был один из тех буэнос-айресских дней, когда чувствуешь себя не просто опрокинутым или доведенным, но прямо-таки раздавленным духотой. В одиннадцать ночи разразилась буря. Сначала — южный вихрь, потом — ливневый обвал. Я искал хоть дерево, чтобы укрыться. При взрыве молнии в двух шагах от меня мелькнула решетка ограды. То ли в страхе, то ли с надеждой я тронул калитку. Она неожиданно подалась. Я вошел, подталкиваемый шквалом. Земля и небо гибельно чернели. Дверь дома была полуоткрыта. Порыв дождя хлестнул по лицу, и я ступил внутрь.

Там поднимались облицованные плиткой стены. Я пересек вытоптанную лужайку. Всюду стоял сладкий, тошнотворный запах. Не помню, слева или справа я наткнулся на каменную лестницу. Поспешно поднялся и почти безотчетно повернул выключатель.

Столовая и библиотека моего детства были теперь, без разделявшей их стены, одним огромным полузаброшенным залом с какой-то мебелью. Не

стану даже пытаться ее описать, поскольку не уверен, что видел все это воочию, хотя свет был невыносимо яркий. Объясню. Видишь то, что понимаешь. Стул соразмерен человеческому телу, его суставам и связкам, ножницы — резанию или стрижке. То же самое с лампой или повозкой. Но дикарь не воспринимает Библию миссионера, а пассажир корабля видит снасти по-иному, чем команда. Если бы мы в самом деле видели мир, мы бы его понимали.

Ни одна из бессмысленных форм, с которыми столкнула меня эта ночь, не соотносилась ни с человеческим телом, ни с обиходными привычками. Мне было жутко и тошно. В одном из углов обнаружилась отвесная лестница, ведущая этажом выше. Между примерно десятью ее широкими стальными пролетами зияли неправильной формы разрывы. Эта лестница, как-никак предполагавшая руки и ноги, была понятна и даже на свой лад успокоительна. Я погасил свет и постоял, привыкая к темноте. Было совершенно тихо, но непривычная обстановка парализовала. Наконец я решился.

Поднявшись, я снова несмело повернул выключатель. Кошмар, обозначившийся ниже этажом, наверху расцветал и захлестывал. Вокруг было

много всего. А может быть, мало, но в одной куче. Вспоминаю что-то вроде просторного и очень высокого операционного стола в виде подковы с круглыми углублениями на концах. Не ложе ли это хозяина, мелькнуло у меня, и не намекает ли оно, как тень, на его чудовищную анатомию зверя или божества? С какой-то давным-давно прочитанной страницы Лукана всплыло слово «амфисбена», отчасти воспроизводя, но никак не исчерпывая то, что я потом увидел. Помню еще острый угол расходящихся кверху зеркал, которые терялись высоко во мраке.

Каков же был обитатель? Что он мог искать на этой планете, не менее опасной для него, чем он для нас? Из каких потаенных областей астрономии или истории, из каких давних и теперь уже неведомых потемок явился он в это южноамериканское предместье именно этой ночью?

Я почувствовал себя вторгшимся в первобытный хаос. Дождь за окном стих. Я глянул на часы и с удивлением обнаружил, что уже почти два. Оставив свет гореть, я осторожно двинулся к лестнице. Может быть, мне удастся спуститься там, где я только что поднялся. Спуститься раньше, чем вернется обитатель. Я подумал, что не запер обеих дверей, поскольку просто не умел.

Нога уже коснулась предпоследнего лестничного пролета, когда я почувствовал, что по ступеням кто-то поднимается — гнетущий, медленный и безмерный. Любопытство было сильнее страха, и я не закрыл глаз.

Секта тридцати

Рукописный оригинал приводимого текста хранится в библиотеке Лейденского университета; некоторые эллинистические обороты его латыни заставляют предположить перевод с греческого. По Лейзегангу, датируется четвертым веком новой эры. Гиббон мельком упоминает о нем в одной из сносок главы пятнадцатой своего «Decline and Fall»[18]. Безымянный автор повествует:

«…Секта никогда не изобиловала адептами, ныне же их число вовсе оскудело. Губимые железом и огнем, они ютятся на обочинах дорог или в оставленных войною руинах, поскольку закон запрещает им возводить дома. Обычно они ходят нагими. То, что я предал бумаге, общеизвестно; теперь моя задача — запечатлеть на письме все, что удалось узнать об их учении и обиходе. Я подолгу спорил с их наставниками и не сумел обратить их в Господню веру.

Первое, что замечаешь, — насколько иначе они относятся к умершим. Наиболее невежественные считают, будто духи покинувших этот мир долж-

---

[18] Примечания: 18
«Упадок и разрушение» (*англ.*).

ны сами заботиться об их погребении; другие, понимая слова Иисуса в переносном смысле, держатся мнения, что наказ: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов“ — порицает роскошь и тщету наших похоронных обрядов.

Требование отказаться от всего, чем владеешь, и раздать имущество бедным неукоснительно почитают все: первые благодетели передают его другим, те — третьим. Отсюда нужда и нагота, приближающие их жизнь к райской. Они как один с жаром повторяют: „Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Господь питает их. Вы не гораздо ли лучше их?“ Один текст впрямую запрещает копить: „Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?», не пребывайте в беспокойстве и раздражении“.

Мнение, что „всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем“, недвусмысленно призывает к воздержанию. Однако многие члены Секты учат, будто все живущие — прелюбодеи, поскольку нет на земле того, кто не взглянул бы на женщину без

вожделения. А раз желание столь же греховно, как действие, праведники могут без опаски предаваться самому разнузданному сладострастию.

Храмы Секта отвергает: ее наставники учат на открытом воздухе, с холма или стены, порой — с лодки у берега.

Название Секты вызвало немало споров. Одни считают, будто речь идет о числе оставшихся приверженцев, что смехотворно, но не лишено проницательности, поскольку извращенным учением о целомудрии Секта обрекла себя на гибель. Иные вспоминают Ноев ковчег высотою в тридцать локтей; третьи, подтасовывая астрономию, толкуют о сумме ночей лунного месяца, четвертые — о возрасте крещения Спасителя, пятые — о первородных годах Адама, слепленного из красной глины. Все это равно далеко от истины. Столь же бессмысленно отсылать к каталогу тридцати божеств или престолов, среди которых — Абраксас, изображаемый с головой петуха, торсом и руками человека и хвостом извивающейся змеи.

Я знаю, но не вправе обсуждать Истину. Мне не дано возвестить ее. Пусть другие, счастливее меня, спасают приверженцев Секты словом. Словом или огнем. Выстоять трудней, чем погибнуть.

Ограничусь поэтому лишь изложением мерзостной ереси.

Слово сделалось плотью, став человеком среди людей, которые отправят его на смерть и будут искуплены им. Оно явилось из чрева женщины, принадлежащей к народу, избранному не только благовестить Любовь, но и принять страдание.

Людям необходимо незабываемое. Гибель от меча или яда не способна потрясти человеческое воображение до конца дней. Господь выстроил события в поразительном порядке. Для этого и нужны тайная вечеря, предсказание предательства, повторяющийся знак одному из учеников, благословение хлеба и вина, трижды отрекшийся Петр, одинокое бдение в Гефсиманском саду, сон двенадцати учеников, такая человеческая мольба Сына о чаше, кровавый пот, мечи, изменнический поцелуй, Пилат, умывающий руки, бичевания, издевки, терновый венец, багряница и трость, горький, как желчь, оцет, распятие на вершине холма, обещание благочестивому разбойнику, сотрясшаяся земля и наступивший мрак.

Милостью Господа, осыпавшего меня столькими благодеяниями, мне был открыт подлинный и сокровенный смысл названия Секты. В Кери-

оте, где я, по слухам, родился, доныне действует тайная община, именуемая Тридцатью Сребрениками. Это старинное имя и дает ключ к разгадке. В трагедии распятия — пишу это со всем благоговением — были свои добровольные и подневольные исполнители, равно необходимые и равно неизбежные. Подневольны были первосвященники, платящие серебром, подневольна чернь, избравшая Варраву, подневолен прокуратор Иудеи, подневольны римские солдаты, воздвигшие крест для казни, вгонявшие гвозди и метавшие жребий. Добровольных было лишь двое: Искупитель и Иуда. Последний выбросил тридцать монет, ставших ценой спасения человеческих душ, и тут же повесился. Ему, как и Сыну Человеческому, исполнилось тридцать три года. Секта одинаково чтит обоих и прощает остальным.

Никто не виновен; каждый, осознанно или нет, исполняет план, предначертанный мудростью Всевышнего. И потому Слава принадлежит всем.

Рука с усилием выводит еще одну мерзость. Достигнув означенного возраста, приверженцы Секты переносят надругательства и подвергаются распятию на вершине холма, чтобы последовать примеру учителей. Это преступное нарушение

пятой заповеди должно караться по всей строгости, требуемой божескими и человеческими законами. Так пусть же громы небесные, пусть ненависть ангелов Его…»

На этих словах рукопись обрывается.

Ночь даров

Вот какую историю услышали мы однажды в кондитерской «Агила» на улице Флорида, у самой вершины холма Пьедад.

Говорили о проблеме познания. Один из присутствовавших отстаивал тезис Платона о том, что все окружающее мы уже видели в предыдущей жизни, а потому познавать означает вспоминать. Кто-то — кажется, мой отец — сослался на Бэкона, который развил эту мысль так: если познавать значит вспоминать, тогда незнание равносильно забвению. Здесь в разговор вмешался еще один из собеседников, господин в летах, от подобной метафизики, судя по виду, вполне далекий. Он неторопливо и уверенно заговорил:

— Про платоновские архетипы ничего сказать не могу. Никто не помнит, когда он в первый раз увидел желтое или черное, когда он в первый раз почувствовал вкус плода: мы были слишком малы, а потому не могли знать, что за этим случаем последует множество таких же. Но есть другие примеры первых переживаний — их не забывает никто. Могу рассказать, что со мной случилось однажды ночью, я ее с тех пор часто вспоминаю.

Это было ночью тридцатого апреля семьдесят четвертого года.

Дачный сезон в те времена длился дольше, но я не помню, почему мы в тот год задержались в имении моих двоюродных братьев Дорна, неподалеку от Лобоса, до самого конца апреля. Один из работников, Руфино, посвящал меня в секреты тамошней жизни. Мне исполнилось тринадцать; Руфино был намного старше и слыл задирой. Он был очень ловок, в шуточных сражениях на палках всегда выходил победителем. Как-то в пятницу он предложил пойти завтра вечером в городок, поразвлечься. Я, разумеется, согласился, не очень понимая, о чем речь. Только предупредил его, что не умею танцевать; он ответил, что этому легко научиться. Мы отправились после ужина, в половине восьмого. Руфино разоделся как на праздник, нацепил блестящий кинжал; я, побаиваясь насмешек, оставил свой нож дома. Скоро показались первые дома. Вы не бывали в Лобосе? Не важно; все провинциальные городки на одно лицо, хотя каждый считает себя особенным. Те же грунтовые улочки, те же приземистые дома, рядом с которыми человек в седле чувствует себя великаном. На перекрестке мы спешились у дома, выкрашенного то ли в голубой, то ли в

розовый цвет; «Звезда» — гласила надпись. У коновязи стояли несколько коней в нарядной сбруе. Из приоткрытой двери на улицу пробивался свет. В глубине виднелся просторный зал со скамьями вдоль стен, в простенках темнели ведущие неизвестно куда двери. Рыжая собачонка выкатилась к нам под ноги с приветственным лаем. Народу было много; полдюжины женщин в цветастых халатах сновали туда и сюда. Женщина в стороне, вся в черном, показалась мне хозяйкой. Руфино поздоровался с ней и сказал:

— Вот привел друга. Он здесь в первый раз, ему еще надо освоиться.

— Понимаю, я постараюсь, — отвечала сеньора.

Мне стало не по себе. Чтобы отвлечь внимание или чтобы показать, что я еще мал, я принялся на конце скамьи играть с собачонкой. На кухонном столе горели воткнутые в бутылки свечи; помню небольшую жаровню в дальнем углу. Беленую стену напротив украшал образ Богородицы.

Кто-то между шутками неловко пощипывал гитару. По своей робости я не отказался от рюмки можжевеловой, обжегшей рот огнем. Одна из женщин показалась мне непохожей на остальных, все называли ее Пленницей. В ней

чувствовалась индейская кровь, но черты лица были правильные, а глаза — грустные-грустные. Коса падала на грудь. Руфино, заметивший, что я на нее посматриваю, обратился к ней:

— Пойди-ка расскажи про тот набег, а то я что-то подзабыл, как там было дело.

И девушка заговорила — заговорила так, как будто вокруг не было ни души, а я вдруг почувствовал, что она не может думать ни о чем другом, что это единственное событие в ее жизни. Вот что она рассказала:

— Меня привезли из Катамарки совсем маленькой. Что я могла понимать в набегах? У нас в поместье о них боялись даже упоминать. Под страшным секретом мне нашептали, что индейцы налетают неожиданно, как дождь, людей убивают, а скот уводят. Женщин они забирают к себе в глушь и делают там с ними что хотят. Я старалась не верить. Мой брат Лукас, которого потом ранили пикой, клялся мне, что все это враки, а вот когда говорят правду, достаточно сказать один раз, и все понимают, что это правда. Чтобы умиротворить индейцев, правительство посылало им мате, но они во всем слушались своих недоверчивых колдунов. По приказу вождя индейцы запросто проходили сквозь все заставы.

В мыслях я чуть ли не хотела, чтобы они пришли, и каждый день смотрела в сторону заката. Я не умела вести счет времени, но ударили холода, потом пришло лето, наступила пора клеймить скот, а еще позже, перед самым набегом, умер сын управляющего. Индейцев как будто принесло ветром. Я смотрела на цветок чертополоха в канаве и думала о них. Наутро они пришли. Животные почуяли их раньше, чем люди: как будто задрожала земля. Усадьбу охватила тревога, в воздухе замелькали птицы. Все вдруг кинулись смотреть в ту сторону, куда я смотрела день за днем.

— Кто же принес известие? — спросил кто-то.

Девушка, словно отсутствующая, повторила последнюю фразу.

— Все вдруг кинулись смотреть в ту сторону, куда я смотрела день за днем. Казалось, это двигалась сама равнина. Сквозь брусья стальной решетки мы сначала увидели пыль и только потом — индейцев. Это был набег. Индейцы хлопали себя рукой по губам и издавали боевой клич. Из оружия у нас в Санта-Ирене было лишь несколько длинных штыков — ошеломить нападающих или, наоборот, прибавить им ярости.

Казалось, Пленница говорит по заученному, на память, но я и вправду услышал на улице диких

индейцев, крики. Удар в дверь, и вот они уже в зале, как будто влетев на коне прямо из сна. Это была орава пьяных парней с окраины. Сейчас, в воспоминаниях, они видятся мне огромными. Шедший впереди саданул локтем Руфино, сидевшего рядом с дверью. Тот изменился в лице и отодвинулся. Сеньора, до той поры не шевелившаяся, встала и сказала:

— Это Хуан Морейра.

Теперь, столько лет спустя, я уже не знаю, кто мне вспоминается на самом деле: мужчина, которого я впервые увидел в ту ночь, или другой, которого столько раз видел потом на арене цирка. То я рисую себе копну волос и черную бороду одного из братьев Подеста, то багровое лицо в крупных оспинах. Собачонка выскочила навстречу Морейре. Ударом бича он уложил ее на месте. Она опрокинулась навзничь, дернулась и умерла. Здесь и начинается настоящая история.

Я бесшумно нырнул в ближайшую дверь — за ней открылся узкий коридор с лестницей — и забился в темную комнату наверху. Не знаю, была ли там другая мебель, кроме низкой кровати. Меня колотила дрожь. Внизу не стихали крики, раздался звон стекла. Я услышал на лестнице женские шаги, на секунду мелькнул свет. Потом

голос Пленницы прошептал:

— Я прислуживаю гостям, но тем, которые не шумят. Иди сюда, не бойся.

Халат она уже сняла. Я придвинулся к ней и коснулся ее лица. Сколько времени прошло, я не знаю. Мы не обменялись ни словом, ни поцелуем. Я расплел ее косу, провел рукой по волосам, они были такие гладкие, провел рукой по всему ее телу. Больше мы никогда не виделись, ее имени я так и не узнал.

Резко ударил выстрел. Пленница сказала:

— Можешь спуститься по другой лестнице.

Так я и сделал и выбрался на грунтовую улочку. Светила луна. Глинобитную стену караулил сержант полиции, в руках у него была винтовка с примкнутым штыком. Он улыбнулся и сказал:

— Да ты, смотрю, ранняя пташка.

Ответить я не успел. Какой-то человек вдруг перескочил через стену. Сержант с размаху вогнал в него штык. Человек упал навзничь и остался лежать на земле, постанывая и исходя кровью. Я вспомнил собачонку. Чтобы докончить дело, сержант еще раз ткнул упавшего штыком. И с каким-то облегчением сказал:

— Видишь, Морейра, даже пулю на тебя не пришлось тратить.

Со всех сторон показались окружавшие дом полицейские, потом соседи. Андрес Чирино с усилием вынул штык. Все тянулись пожать ему руку. Улыбающийся Руфино сказал:

— Отбегался бандит.

Я переходил от группы к группе, рассказывая о только что виденном. И вдруг почувствовал, что еле держусь на ногах; кажется, меня лихорадило. Я бросил всех, отыскал Руфино, мы отправились домой. С высоты коня уже было видно белую полоску зари. Я не то чтобы устал — скорее, меня оглушило потоком случившегося.

— Водопадом той ночи, — подсказал мой отец.

— Вот именно, — согласился рассказчик. — Всего за несколько часов я познал любовь и увидел смерть. Рано или поздно людям открывается все или, по крайней мере, все, что дано узнать человеку. Но мне в ту ночь, от заката до рассвета, открылись две эти главные вещи. Годы идут, и я уже столько раз рассказывал свою историю, что не знаю, помню ли я ее или одни слова, которыми ее пересказываю. Может быть, то же самое было с Пленницей и ее набегом. И сегодня уже все равно, я или кто-то другой видел, как убили Морейру.

Зеркало и маска

После сражения при Клонтарфе, где норвежцы были разбиты, Великий Король обратился к поэту и сказал ему:

— Самые славные подвиги меркнут, если они не запечатлены в словах. Я хочу, чтобы ты воспел мне хвалу и прославил мою победу. Я буду Энеем, ты станешь моим Вергилием. В силах ли ты справиться с моим замыслом, который даст нам бессмертие?

— Да, Король, — ответил поэт. — Я оллам. Двенадцать зим я изучал искусство метрики. Я знаю на память триста шестьдесят сюжетов, которые лежат в основе истинной поэзии. В струнах моей арфы заключены ольстерский и мунстерский циклы саг. Мне известны способы, как употреблять самые древние слова и развернутые метафоры. Я познал сложные структуры, которые хранят наше искусство от посягательств черни. Я могу воспеть любовь, похищение коней, морские плавания, битвы. Мне ведомы легендарные предки всех королевских домов Ирландии. Мне открыты свойства трав, астрология, математика и каноническое право. При стечении народа

я одержал победу над своими соперниками. Я искушен в заклятьях, которые наводят на кожу болезни, вплоть до проказы. Я владею мечом и доказал это в твоем сражении. Лишь одного я не испытал: радости получить от тебя дар.

Король, которого долгие речи утомляли, сказал с облегчением:

— Она предстоит тебе. Сегодня мне сказали, что в Англии уже слышны соловьиные песни. Когда пройдут дожди и снега, когда вновь прилетит соловей из южных земель, ты прочитаешь мне свою хвалебную песнь в присутствии двора и Коллегии Поэтов. Я даю тебе целый год. Ты можешь довести до совершенства каждую букву и каждое слово. Награда, как я уже сказал, будет достойна и моих королевских обычаев, и твоих вдохновенных трудов.

— Король, лучшая награда — лицезреть тебя, — ответил поэт, который не переставал быть царедворцем.

Он поклонился и вышел, уже начиная смутно предчувствовать стих.

Прошел год, ознаменованный мором и бунтами, и поэт представил свою хвалебную песнь. Он читал ее твердо и размеренно, не заглядывая в рукопись. Король одобрительно кивал. Все повто-

ряли его жест, даже те, кто толпился в дверях и не мог разобрать ни слова.

Наконец Король заговорил:

— Я принимаю твой труд. Это еще одна победа. Ты сообщил каждому слову его истинное значение, а каждое существительное сопроводил эпитетом, который ему придавали первые поэты. Во всей песни нет ни одного образа, который бы не использовали древние. Битва — великолепный ковер из воинов, а кровь — вода меча. У моря — свой бог, а по облакам видно будущее. Ты мастерски справился с рифмами, аллитерациями, ассонансами, долгими и краткими звуками, хитросплетениями ученой риторики, искусным чередованием размеров. Если бы вдруг — omen absit[19] — вся ирландская литература погибла, ее можно было бы восстановить без потерь по твоей песни. Тридцати писцам будет приказано переписать ее по двенадцать раз. — Он помолчал и продолжил: — Все прекрасно, однако ничего не произошло. Кровь не побежала по жилам быстрее. Рука не потянулась к луку. Не сбежал румянец со щек. Не раздался боевой клич, не сомкнулись ряды, чтобы противостоять викингам.

---

[19] Примечания: 19

Здесь: да не случится такого (*лат.*).

Через год мы станем рукоплескать твоей новой песни, поэт. В знак нашего одобрения прими это серебряное зеркало.

— Я понял и благодарю, — ответил поэт.

Светила прошли по небу свой круг. Вновь запел соловей в саксонских лесах, и опять появился поэт со своей рукописью, на этот раз меньшей, чем прежняя. Он читал написанное неуверенно, опуская некоторые строфы, как будто не вполне понимая или не желая делать их всеобщим достоянием. Страницы были битвой. В их ратном беспорядке мелькал Бог, единый в Троице, одержимые ирландские язычники и воины, сражавшиеся спустя столетия в начале Великой Эпохи. Язык поэмы был не менее необычен. Существительное в единственном числе управляло глаголом во множественном. Предлоги были непохожи на общепринятые. Грубость сменялась нежностью. Метафоры были случайны или казались такими.

Король обменялся словами со знатоками литературы, окружавшими его, и произнес:

— О твоей первой песни можно было сказать, что она счастливый итог всех тех времен, когда в Ирландии слагались легенды. Эта — превосходит все существовавшее ранее и уничтожает его. Она

потрясает, изумляет, слепит. Невежды недостойны ее, а знатоки — еще меньше. Единственный экземпляр будет храниться в мраморном ларце. Но от поэта, создавшего столь великий труд, можно ждать еще большего. — Он добавил с улыбкой: — Мы герои легенды, а в легендах, помнится, главное число — три.

Поэт пробормотал:

— Три волшебных дара, троекратные повторы и, разумеется, Троица.

Король продолжал:

— В залог моего расположения возьми эту золотую маску.

— Принимаю и благодарю, — ответил поэт.

Прошел год. Стража у ворот дворца заметила, что поэт не принес рукописи. В изумлении разглядывал его Король: он был совсем другим. Нечто иное, не время, оставило след на его лице, изменило черты. Взгляд казался устремленным вдаль либо невидящим. Поэт обратился к Королю с просьбой о разговоре наедине. Придворные покинули зал.

— Написал ли ты песнь? — спросил Король.

— Написал, — горестно ответил поэт. — Лучше бы Господь наш Иисус Христос не дал мне на это сил.

— Можешь прочесть?

— Не смею.

— Соберись с духом, — подбодрил его Король.

Поэт прочел стихотворение. Оно состояло из одной строки. Поэт читал без воодушевления, однако и для него самого, и для Короля стих прозвучал то ли молитвой, то ли богохульством. Король был поражен не меньше поэта. Они взглянули друг на друга, лица их покрыла бледность.

— В молодые годы, — сказал Король, — я совершил плавание на закат. На одном из островов я видел серебряных борзых, которые загоняли насмерть золотых кабанов. На другом мы утоляли голод благоуханьем чудесных яблок. Еще на одном я видел огненные стены. А на самом дальнем с неба изогнутой аркой стекала река, по водам которой плыли рыбы и корабли. Это были чудеса, но они не сравнимы с твоим стихотворением, которое удивительным образом заключает чудеса в себе. Каким колдовством удалось тебе добиться этого?

— Однажды я проснулся на заре, — ответил поэт, — повторяя слова, которые не сразу понял. Это и было стихотворение. Я чувствовал, что совершаю грех, которому нет прощения.

— То, что мы с тобой оба испытали, — тихо

сказал Король, — известно как Прекрасное и запретно для людей. Настала пора расплаты. Я подарил тебе зеркало и золотую маску; вот третий, последний дар.

И он вложил поэту в правую руку кинжал.

О поэте известно, что он лишил себя жизни, как только покинул дворец, о Короле — что он оставил свое царство и стал нищим, скитавшимся по дорогам Ирландии, и что он ни разу не повторил стихотворения.

Ундр

Мой долг предупредить читателя, что он напрасно будет искать помещенный здесь эпизод в «Libellus»[20] (1615) Адама Бременского, родившегося и умершего, как известно, в одиннадцатом веке. Лаппенберг обнаружил его в одной из рукописей оксфордской библиотеки Бодли и счел, ввиду обилия второстепенных подробностей, более поздней вставкой, однако опубликовал как представляющую известный интерес в своей «Analecta Germanica»[21] (Лейпциг, 1894). Непрофессиональное мнение скромного аргентинца мало что значит; пусть лучше читатель сам определит свое к ней отношение. Мой перевод на испанский, не будучи буквальным, вполне заслуживает доверия.

Адам Бременский пишет: «…Среди племен, которые обитают вблизи пустынных земель, расположенных на том краю моря, за степями, где пасутся дикие кони, наиболее примечательное

---

[20] Примечания: 20
«Книжица» (*лат.*).

[21] Примечания: 21
«Германские крохи» (*лат.*).

— урны. Невразумительные и неправдоподобные рассказы торговцев, трудности пути и опасение быть ограбленным кочевниками — все это так и не позволило мне ступить на их землю. Однако мне известно, что их редкие, слабо защищенные поселения находятся в низовьях Вислы. В отличие от шведов урны исповедуют истинную религию Христа, не замутненную ни арианством, ни кровавыми демонологическими культами, в которых берут начало королевские династии Англии и других северных народов. Они пастухи, лодочники, колдуны, оружейники и ткачи. Жестокие войны почти отучили их пахать землю. Жители степного края, они преуспели в верховой езде и стрельбе из лука. Все со временем начинают походить на своих врагов. Их копья длиннее наших, ибо принадлежат они всадникам, а не пехотинцам.

Перо, чернила и пергамент, как и можно было предположить, им неведомы. Они вырезают свои буквы, подобно тому, как наши предки увековечивали руны, дарованные им Одином, после того как он в течение девяти ночей провисел на ясене: Один, принесенный в жертву Одину».

Эти общие сведения дополню содержанием моего разговора с исландцем Ульфом Сигурдар-

соном, который слов на ветер не бросал. Мы встретились в Упсале неподалеку от собора. Дрова горели; сквозь щели и трещины в стене проникали стужа и заря. За дверями лежал снег, меченный хитрыми волками, которые разрывали на куски язычников, принесенных в жертву трем богам. Вначале, как принято среди клириков, мы говорили на латыни, но вскоре перешли на северный язык, который в ходу на всем пространстве от Ультима Туле до торговых перекрестков Азии. Этот человек сказал:

— Я — скальд; едва я узнал, что поэзию урнов составляет одно-единственное слово, как тут же отправился в путь, ведущий к ней и к ее землям. Спустя год не без труда и мытарств я достиг своей цели. Была уже ночь; я заметил, что люди, встречавшиеся на моем пути, смотрели на меня с недоумением, а несколько брошенных камней меня задели. Я увидел в кузнице огонь и вошел.

Кузнец приютил меня на ночь. Звали его Орм. Его язык напоминал наш. Мы перемолвились несколькими словами. Из его уст я впервые услышал имя их царя — Гуннлауг. Мне стало известно, что с началом последней войны он перестал доверять чужеземцам и взял за правило распинать их. Дабы избежать участи, подобающей скорее

Богу, чем человеку, я сочинил драпу, хвалебную песнь, превозносящую победы, славу и милосердие царя. Едва я успел ее запомнить, как за мной пришли двое. Меч отдать я отказался, но позволил себя увести.

Были еще видны звезды, хотя брезжил рассвет. По обе стороны дороги тянулись лачуги. Мне рассказывали о пирамидах, а на первой же площади я увидел столб из желтого дерева. На вершине столба я различил изображение черной рыбы. Орм, который шел вместе с нами, сказал, что рыба — это Слово. На следующей площади я увидел красный столб с изображением круга. Орм повторил, что это Слово. Я попросил, чтобы он мне его сказал. Он мне ответил, что простые ремесленники его не знают.

На третьей, последней площади я увидел черный столб с рисунком, который забыл. В глубине была длинная гладкая стена, краев которой я не видел. Позднее я узнал, что над нею есть глиняное покрытие, ворота только наружные и что она опоясывает город. К изгороди были привязаны низкорослые, длинногривые лошади. Кузнецу войти не позволили. Внутри было много вооруженных людей; все они стояли. Гуннлауг, царь, был нездоров и возлежал на помосте, устланном

верблюжьими шкурами. Вид у него был изможденный, цвет лица землистый — полузабытая святыня; старые длинные шрамы бороздили его грудь. Один из солдат провел меня сквозь толпу. Кто-то протянул арфу. Преклонив колени, я вполголоса пропел драпу. В ней в избытке были риторические фигуры, аллитерации, слова, произносимые с особым чувством, — все, что подобает жанру. Не знаю, понял ли ее царь, но он пожаловал мне серебряный перстень, который я храню поныне. Я заметил, что из-под подушки торчит конец кинжала. Справа от него была шахматная доска с сотней клеток и несколькими в беспорядке стоящими фигурами.

Стражник оттолкнул меня. Мое место занял человек, не преклонивший колен. Он перебирал струны, будто настраивал арфу, и вполголоса стал нараспев повторять одно слово, в смысл которого я пытался вникнуть и не вник. Кто-то благоговейно произнес: *«Сегодня он не хочет ничего говорить»*.

У многих на глазах я видел слезы. Голос певца то падал, то возвышался; он брал при этом монотонные, а точнее, бесконечно тягучие аккорды. Мне захотелось, чтобы песня никогда не кончалась и была моей жизнью. Внезапно она

оборвалась. Раздался звук падающей арфы, которую певец в полном изнеможении уронил на пол. Мы выходили в беспорядке. Я был одним из последних. Меня удивило, что уже смеркалось.

Я сделал несколько шагов. Кто-то опустил руку мне на плечо. Незнакомец сказал:

— Царский перстень стал твоим талисманом, однако ты скоро умрешь, ибо слышал Слово. Я, Бьярни Торкельсон, тебя спасу. Я — скальд. В своем дифирамбе ты кровь уподобил воде меча, а битву — битве людей. Мне вспоминается, что я слышал эти фигуры от отца моего отца. Мы оба с тобой поэты; я спасу тебя. У нас перестали описывать события, которым посвящены наши песни; мы выражаем их единственным словом, а именно — Словом.

Я ответил:

— Расслышать его я не смог. Прошу тебя, скажи мне его.

После некоторого колебания он произнес:

— Я поклялся держать его в тайне. К тому же никто ничему научить не может. Тебе придется искать его самому. Прибавим шагу, ибо жизни твоей угрожает опасность. Я спрячу тебя в своем доме, где искать тебя не посмеют. Завтра утром, если будет попутный ветер, ты отплывешь на

юг.

Так начались мои странствия, в которых прошло немало долгих лет. Я не стану описывать всех выпавших на мою долю злоключений. Я был гребцом, работорговцем, рабом, лесорубом, певцом, грабил караваны, определял местонахождение воды и металлов. Попав в плен, я год проработал на ртутном руднике, где у людей выпадают зубы. Бок о бок со шведами я сражался под стенами Миклигарта (Константинополя). На берегу Азовского моря меня любила женщина, которой мне никогда не забыть; я ли оставил ее, или она меня — это одно и то же. Предавали меня, и предавал я. Не раз и не два я вынужден был убивать. Однажды греческий солдат вызвал меня на поединок и протянул мне на выбор два меча. Один из них был на целую ладонь длиннее другого. Я понял, что он хотел этим испугать меня, и выбрал короткий. Он спросил почему. Я ответил, что расстояние от моего кулака до его сердца неизменно. На берегу Черного моря я высек руническую эпитафию в память о моем друге Лейфе Арнарсоне. Я сражался с Синими Людьми Серкланда, сарацинами. Чего только не было со мной за это время, но вся эта круговерть казалась лишь долгим сном. Главным же было

Слово. Порой я в нем разуверивался. Я убеждал себя, что неразумно отказываться от прекрасной игры прекрасными словами ради поисков одного-единственного, истинность которого недоказуема. Однако доводы эти не помогали. Один миссионер предложил мне слово «Бог», но я его отверг. Однажды, когда над какой-то рекой, впадавшей в море, вставало солнце, меня вдруг озарило.

Я вернулся на земли урнов и насилу нашел дом певца.

Я вошел и назвал себя. Стояла ночь. Торкельсон, не поднимаясь с пола, попросил меня зажечь свечу в бронзовом подсвечнике. Его лицо настолько одряхлело, что мне невольно подумалось, что стариком стал уже и я. По обычаю, я спросил о царе. Он ответил:

— Ныне его зовут не Гуннлауг. Теперь у него другое имя. Расскажи-ка мне о своих странствиях.

Я рассказал ему все по порядку, с многочисленными подробностями, которые здесь опускаю. Он прервал мой рассказ вопросом:

— Часто ли ты пел в тех краях?

Меня удивил вопрос.

— Вначале, — ответил я, — пением я зарабатывал на хлеб. Потом необъяснимый страх не давал

мне петь и прикасаться к арфе.

— Хорошо, — одобрительно кивнул он. — Можешь продолжать.

Я постарался ничего не забыть. Наступило долгое молчание.

— Что дала тебе первая женщина, которой ты обладал? — спросил он.

— Все, — ответил я.

— Мне тоже моя жизнь дала все. Всем жизнь дает все, только большинство об этом не знает. Мой голос устал, а пальцы ослабли, но послушай меня.

И он произнес слово «ундр», что означает «чудо».

Меня захватило пение умирающего, в песне которого и в звуках арфы мне чудились мои невзгоды, рабыня, одарившая меня первой любовью, люди, которых я убил, студеные рассветы, заря над рекой, галеры. Взяв арфу, я пропел совсем другое слово.

— Хорошо, — сказал хозяин, и я придвинулся, чтобы лучше его слышать. — Ты меня понял.

Утопия уставшего

И назвали ее Утопией, греческим словом, означающим Нигдейя.

Кеведо

Двух одинаковых гор не найти, но равнина повсюду на свете одна и та же. Я шел по равнинной дороге. И рассеянно спрашивал себя, где нахожусь — в Оклахоме, Техасе или тех местах, которые ученые люди зовут пампой. Ни справа, ни слева не виднелось ни огонька. Как столько раз прежде, я вполголоса повторял строчки Эмилио Орибе:

Посреди этой жуткой, бесконечной равнины

У Бразильских границ, —

и они звучали все громче и яснее.

Дорога то пропадала, то появлялась. Закапал дождь. Метрах в двухстах-трехстах я разглядел свет в окне дома. Строение было приземистым, прямоугольным, обсаженным деревьями. Дверь открыл мужчина, до того высокий, что я чуть не испугался. Он был во всем сером. Чувствовалось, что он кого-то ждет. Запора на двери не было.

Мы вошли в просторную комнату с обшитыми деревом стенами. Под потолком свисал светильник, лучившийся желтым. Стол меня поразил. Первое, что я на нем заметил, это клепсидру и какую-то гравюру. Мужчина предложил сесть.

Я пробовал обращаться к хозяину на разных языках, он не понимал ни одного. Но вдруг заговорил — на латыни. Я собрал давние школьные воспоминания и приготовился отвечать.

— Судя по одежде, — начал он, — ты из другого века. Когда-то разность языков поддерживала различия между народами, даже между войнами; теперь мир вернулся к латыни. Кое-кого тревожит, не опустится ли он до французского, лемозина или папьяменто, но это произойдет не скоро. Как бы там ни было, меня не занимает ни прошлое, ни будущее.

Я замялся, тогда он добавил:

— Если тебя не смущает, когда у тебя на глазах едят, может быть, перекусим?

Я понял, что он чувствует мою скованность, и согласился.

Мы пересекли коридор с дверьми по обеим сторонам и попали в маленькую кухню, где повсюду блестел металл. Вернулись мы с ужином на подносе: плошки с кукурузными хлопьями, гроздь

винограда, незнакомые плоды, вкусом напомнившие мне инжир, большой кувшин с водой. Кажется, мы обошлись без хлеба. У хозяина было заостренное лицо и что-то странное во взгляде. Никогда не забуду эти твердые, бледные черты, которые больше не увижу. При разговоре он не жестикулировал.

По долгу взаимности я был вынужден придерживаться латыни и в конце концов решился спросить:

— Тебя не удивил мой внезапный приход?

— Нет, — ответил он, — такие визиты у нас из века в век повторяются. И тянутся недолго: самое позднее завтра ты уже будешь дома.

Его уверенный голос меня успокоил. Теперь я счел нужным представиться:

— Меня зовут Эудоро Асеведо. Родился в тысяча восемьсот девяносто седьмом году в Буэнос-Айресе. Мне уже семьдесят. Преподаватель английской и американской словесности, автор фантастических рассказов.

— Помню — отозвался он, — я без скуки дочитал два фантастических рассказа: «Путешествия капитана Лемюэля Гулливера», которые кое-кто считает реальными, и «Свод богословия». Но не будем говорить о реальности. Реальность ничего

не значит. Это всего лишь отправной пункт для выдумок и размышлений. В школах у нас учат сомневаться и забывать. И прежде всего, забывать то, что связано с личностью и местом. Мы живем во времени, которое сменяется, но стремимся жить sub specie aeternitatis[22]. От прошлого нам достались какие-то имена, но они уже исчезают из речи. Мы избегаем ненужной точности. Ни хронологии, ни истории у нас нет. Нет и статистики. Вот ты сказал, твое имя Эудоро, а я не могу назвать тебе свое, — меня зовут имярек.

— Но как звали твоего отца?

— Никак.

На стене висела книжная полка. Я наугад раскрыл один из томов: четкие и непонятные буквы были выведены от руки. Прямоугольными очертаниями они напоминали руны, но те использовались только для надписей на камне. Мне подумалось, что люди будущего не только выше ростом, но и искусней нас. Я невольно перевел взгляд на длинные и тонкие пальцы хозяина.

А он сказал:

— Сейчас я покажу тебе то, чего ты никогда не видел.

---

[22] Примечания: 22
С точки зрения вечности (*лат.*).

Он бережно протянул мне экземпляр «Утопии» Мора, напечатанный в Базеле в 1518 году и потерявший с той поры немало страниц и гравюр.

Я не без гордости заметил:

— Это печатная книга. У меня дома их больше двух тысяч, хоть и не таких старинных и дорогих.

И прочитал название вслух.

Собеседник улыбнулся.

— Никто не сумеет прочесть две тысячи книг. За четыре века, которые я прожил, мне удалось осилить меньше полудюжины. Да и важно ведь не читать, а перечитывать. Книгопечатание, теперь упраздненное, было одной из худших напастей человечества, оно заставляло головокружительно умножать бесполезные тексты.

— А в моем любознательном прошлом, — отозвался я, — миром правило суеверие, будто с вечера до утра происходит множество событий, которые стыдно упустить. Планету населяли коллективные химеры по имени Канада, Бразилия, Швейцарское Конго, Общий рынок. Почти никто не знал предысторию этих платонических сущностей, зато все были до тонкостей осведомлены о последнем съезде учителей, неминуемом разрыве дипломатических отношений и обмене

президентскими посланиями, которые секретари секретарей составляли с продуманной расплывчатостью формулировок — характерной особенностью данного жанра.

Все это читалось, чтобы тут же выпасть из памяти, которую через несколько часов заполняли новые пустяки. Из всех занятий самым популярным была, конечно, политика. Послов или министров нужно было, словно калек, возить на длинных, громогласно гудящих автомобилях, которые окружали мотоциклисты и охрана и подстерегали ненасытные фотокорреспонденты. Как безногих, говаривала моя мать. Фотоснимок и печатное слово были реальнее самих вещей. Подлинным считалось только опубликованное. Esse est percipi (существовать значит восприниматься) — таков был исток, способ поддержания и конечная цель наших уникальных представлений о мире. В моем прошлом люди отличались простодушием: они верили, что товар хороший, если это говорит и повторяет его изготовитель. Воровство тоже было делом обычным, хотя каждый знал, что деньги не приносят ни счастья, ни покоя.

— Деньги? — подхватил он. — У нас уже не страдают ни от мучительной бедности, ни от

нестерпимо пошлого богатства. Каждый несет свою службу.

— Как раввин, — вставил я.

Кажется, он меня не понял и продолжал:

— Городов у нас тоже нет. Если судить по развалинам Баия-Бланки, которые я однажды из любопытства обследовал, потеряли мы немного. Поскольку нет собственности, нет и наследства. Достигнув зрелости к ста годам, человек способен вынести себя и свое одиночество. В конце концов, один потомок у него уже есть.

— Только один? — переспросил я.

— Да, только один. Не вижу смысла приумножать человеческий род. Кое-кто считает, что человек есть орган божества, которое с его помощью познаёт вселенную, но никому с достоверностью не известно, существует ли подобное божество. Кажется, сегодня на повестке дня постепенное или разовое самоуничтожение человечества. Впрочем, мы отклонились.

Я кивнул.

— Так вот, достигнув столетнего возраста, человек в состоянии обходиться без любви и дружбы. Болезни, нечаянная смерть ему не грозят. Он занимается искусством, философией, математикой или играет в шахматы сам с собой. А когда

захочет, покончит самоубийством. Человек — господин своей жизни и смерти.

— Это цитата? — спросил я.

— Конечно. Только цитаты нам и остались. Язык ведь тоже система цитат.

— А как с величайшим достижением моей эпохи — полетами в космос? — спросил я.

— Вещь замечательная, но мы уже много столетий назад отказались от подобных путешествий. Нам не избавиться от своего времени и места. — И, улыбнувшись, добавил: — В конце концов, любое путешествие — космическое. Добраться до другой планеты или до соседней усадьбы — не все ли равно? Войдя в эту комнату, вы тоже совершили космическое путешествие.

— Верно, — ответил я. — У нас еще много говорили об искусственных веществах и вымирающих животных.

Но хозяин отвернулся от меня и смотрел в окно. Снаружи, под беззвучным снегом и луной, белела равнина.

Я отважился спросить:

— А музеи и библиотеки еще существуют?

— Нет. Мы хотим забыть прошлое — оно пригодно только для сочинения элегий. У нас нет памятных чествований, столетних юбилеев,

изображений умерших. Каждый сам должен создавать науки и искусства, если они ему требуются.

— Значит, каждый сам должен стать своим Бернардом Шоу, своим Иисусом Христом, своим Архимедом?

Он молча кивнул. Я продолжил:

— А что стало с верховной властью?

— Говорят, она постепенно упразднилась сама собой. Сначала власти еще назначали выборы, объявляли войны, устанавливали цены, производили аресты, конфисковывали имущество, налагали цензурные ограничения, но никто не принимал их всерьез. Пресса перестала печатать их распоряжения и портреты. Политикам пришлось подыскать себе занятия поскромней, одни стали недурными комиками, другие — недурными знахарями. Конечно, на самом деле все было сложнее, чем я рассказываю.

Он изменил тон и продолжил:

— Я сам построил этот дом, такой же, как у всех остальных. Сам сделал эту мебель и эту утварь. Сам вспахал землю, которую другие, чьих лиц я уже не увижу, вспашут, наверное, лучше меня. Могу тебе кое-что показать.

Я двинулся за ним в соседнюю комнату. Там он

зажег лампу, тоже свисавшую с потолка. В углу виднелась арфа с несколькими струнами. По стенам висели прямоугольные полотна, в основном желтоватых тонов. На вид они принадлежали разным художникам.

— Это мои вещи, — сказал он.

Я осмотрел картины и остановился у самой маленькой, изображавшей или напоминавшей закат, но таившей в себе что-то бесконечное.

— Если хочешь, возьми ее на память о будущем друге, — ровным голосом сказал он.

Я поблагодарил, но мой взгляд привлекли другие картины. Не то чтобы они были белых тонов, но казались почти белыми.

— Они написаны красками, которых не могут видеть твои древние глаза.

Пальцы мягко коснулись струн арфы, звуки я едва различал.

И тут послышался стук в дверь.

Вошла высокая женщина и трое или четверо мужчин. Казалось, они родственники или с годами стали похожи друг на друга. Хозяин сначала заговорил с женщиной:

— Я знал, что сегодня ночью ты придешь. С Нильсом видишься?

— Иногда, вечерами. Он весь в своих картинах.

— Будем надеяться, ему удастся больше, чем отцу.

Мы забрали с собой все: рукописи, картины, мебель, утварь.

Женщина трудилась наравне с мужчинами. Мне было стыдно, что я такой слабый и почти не могу им помочь. Не закрывая дверь, мы вышли, каждый со своей ношей. Крыша, я заметил, была двускатная.

Минут через пятнадцать мы повернули влево. В глубине показалось что-то вроде башни с куполом.

— Крематорий, — пояснил кто-то. — Внутри камера смертников. Говорят, ее изобрел один филантроп, его звали, кажется, Адольф Гитлер.

Привратник, рост которого меня уже не удивил, распахнул решетчатую дверь.

Мой хозяин ему что-то шепнул. Перед тем как войти, он помахал мне рукой.

— Видно, опять снег пойдет, — сказала женщина.

Я храню у себя в секретере на улице Мехико картину, которую когда-нибудь, через тысячи лет, напишут красками, сегодня еще развеянными по всей планете.

Искушение

Этот рассказ — о двух мужчинах, а точней — об одном эпизоде, в котором участвуют двое мужчин. Сам сюжет, в котором нет ничего особенного или сверхъестественного, значит здесь куда меньше, чем характеры действующих лиц. Оба грешат тщеславием, но в разной мере и с неодинаковым результатом. Случай (и не более того!) произошел недавно в одном из американских штатов; насколько понимаю, ни в каком другом месте он произойти не мог.

В конце 1961 года мне довелось довольно долго разговаривать в университете штата Техас в Остине с одним из персонажей, доктором Эзрой Уинтропом. Он преподавал староанглийский (и не одобрил моего словечка «англосаксонский», наводящего-де на мысль о сумме двух разных частей). Помню, как он, не вступая в спор, поправлял мои бесчисленные ошибки и сумасбродные домыслы. Рассказывали, что на экзаменах он обходится без заранее подготовленных вопросов и попросту приглашает студента побеседовать на ту или иную тему, предоставляя ему самому решать, чего заслуживает его ответ. Родом из

старой пуританской семьи, уроженец Бостона, Уинтроп тяжело свыкался с обычаями и предрассудками Юга. Тосковал по снегу, но тут я заметил, что у себя дома северяне точно так же спасаются от холодов, как мы — от жары. Теперь уже смутно помню высокого седовласого человека и ощущение неповоротливости и силы. Куда ясней мои воспоминания о его коллеге Герберте Локке, преподнесшем мне экземпляр своей книги «К истории кёнингов», где он писал, что саксы прекрасно обходились без этих надуманных метафор (море — дорога китов, орел — сокол битвы и т. п.), а вот скандинавские барды перетасовывали и сплетали их до полного помрачения смысла. Упоминаю Герберта Локка, поскольку без него в рассказе не обойтись.

Но перейдем к исландцу Эйрику Эйнарсону, вероятно главному действующему лицу. Я его никогда не видел. Он приехал в Техас в шестьдесят девятом, я к тому времени уже перебрался в Кембридж, но по письмам нашего общего друга Рамона Мартинеса Лопеса, кажется, знаю Эйнарсона до мелочей. Знаю, что он человек увлекающийся, напористый и владеющий собой; даже в тех краях рослых мужчин его рост бросался в глаза. За рыжие волосы студенты, понятно,

окрестили его Эйриком Рыжим. Он считал, что употребление жаргона с неизбежными ошибками обличает в иностранце выскочку, и никогда не опускался ни до каких «о'кей». Прилежному исследователю языков севера, английского, латыни и — хоть он и не признавался в этом — немецкого, Эйнарсону, конечно же, была открыта дверь в любой из университетов Америки. Первую свою работу он посвятил четырем статьям Де Куинси о влиянии датских нашествий на озерные районы Уэстморленда. За ней последовала вторая, о диалекте крестьян Йоркшира. Оба труда встретили благожелательно, но Эйнарсону казалось, будто для настоящей карьеры требуется что-то выходящее из ряда вон. В семидесятом он опубликовал в Йеле скрупулезное новое издание баллады о Мэлдоне. Scholarship[23] комментария была превыше всяких похвал, но иные из выдвинутых в предисловии гипотез вызвали в микроскопических кругах специалистов некоторую дискуссию. Эйнарсон, скажем, утверждал, что стиль баллады — пусть и отдаленно! — напоминает не столько ритмизованную риторику «Беовульфа», сколько героический фрагмент «Битвы при Финнсбурге»,

[23] Примечания: 23
Эрудиция (*англ.*).

а поразительная точность деталей опережает манеру, которой — и справедливо — восхищаются в исландских сагах. Автор предложил новое прочтение ряда трудных мест в тексте, сохраненном Эльфинстоном. Уже в шестьдесят девятом его избрали профессором университета штата Техас. Как известно, в обычаи американских университетов входят симпозиумы германистов. На последнем из них, в Ист-Лэнсинге, был доктор Уинтроп. Заведующий отделением, давая ему на этот год заслуженную передышку, просил подумать о кандидатуре на ближайшую встречу. Выбрать, так или иначе, предстояло из двоих: либо Герберт Локк, либо Эйрик Эйнарсон.

Подобно Карлейлю, Уинтроп отрекся от пуританской веры предков, но не от моральных обязательств. Он не стал уклоняться от порученного: задача была ясна. С 1954 года Герберт Локк не раз помогал ему в подготовке комментированного издания «Беовульфа», в некоторых университетах заместившего клеберовское. В последнее время Локк трудился над необходимым любому германисту англо-англосаксонским словарем, который избавит читателя от чаще всего безрезультатных скитаний по этимологическим справочникам. Эйнарсон был много моложе;

заносчивый характер обеспечил ему неприязнь всех, не исключая Уинтропа. Критическое издание «Битвы при Финнсбурге» сделало его известным. Он любил задираться; конечно, его доклад на съезде будет куда живей, чем у немногословного и флегматичного Локка. Уинтроп все еще колебался, когда произошло неожиданное.

В Йеле появилась пространная статья об университетском преподавании англосаксонской литературы и языка. В конце стояли прозрачные инициалы «Э. Э.» и разгонявшее последние сомнения слово «Техас». Написанная правильным языком иностранца, статья отличалась безупречной корректностью, но не скрывала агрессии. Автор отстаивал мысль, будто начинать учебный курс жестой о Беовульфе, произведением древним по датировке, но подражательно-вергилианским и риторическим по стилю, столь же неестественно, как изучение современного английского путаными стихами Мильтона. Предлагалось перевернуть хронологию, идя от «Могилы» XI века, сквозь которую уже брезжит нынешний язык, и отступая вглубь, к самым истокам. Что до «Беовульфа», достаточно и отрывка из трех тысяч его непреодолимых стихов, скажем похоронного обряда над Скильдом, вышедшим из

моря и вернувшимся в море. Имя Эзры Уинтропа не упоминалось ни разу, но его носитель чувствовал себя задетым буквально каждой строкой. И не потому, что метили в него самого: покушались на его преподавательский метод.

До отъезда оставались считаные дни. Уинтроп хотел сохранить непредубежденность; он не мог позволить, чтобы статья Эйнарсона, уже прочитанная и обсужденная всеми, повлияла на его решение. А оно далось нелегко. Наутро Уинтроп имел беседу со своим шефом, и в тот же вечер Эйнарсон получил официальное предложение отправиться в Висконсин.

Накануне девятнадцатого марта, дня отъезда, Эйнарсон постучал в кабинет Эзры Уинтропа. Он зашел проститься и поблагодарить. Одно из окон выходило на пологую зеленую улочку, кругом теснились книги. Эйнарсон тут же узнал первое издание «Edda Islandorum»[24] в переплете из телячьей кожи. Уинтроп уверил, что собеседник, несомненно, справится с возложенной на него миссией и благодарить тут решительно не за что. И все-таки разговор, насколько знаю, затянулся.

— Давайте начистоту, — отрезал Эйнарсон. —

---

[24] Примечания: 24
«Исландская Эдда» (*дат.*).

Любая собака в университете скажет, что если наш шеф, доктор Ли Розенталь, отправил на съезд меня, то исключительно по вашей рекомендации. Надеюсь, я не подведу. Я неплохой германист. Язык саг для меня родной, а по-английски я говорю лучше моих британских коллег. Мои студенты произносят cynning, а не cunning[25]. А еще они знают, что курить в аудитории настрого запрещено, равно как и появляться разодетыми на манер хиппи. Что до моего незадачливого соперника, то критиковать его было бы с моей стороны дурным вкусом: в работе о кёнингах он блистает знанием не только оригинальных текстов, но и трудов Майснера и Маркуардт. Но все это мелочи. Я обязан объясниться лично перед вами, доктор Уинтроп. Я покинул свою страну в конце шестьдесят седьмого. Если решаешь уехать в чужие края, надо пробиться, иначе незачем уезжать. Две мои первые работы, обе узкоспециальные, имели одну цель: показать, чего я стою. Понятно, этого недостаточно. Меня всегда интересовала баллада о Мэлдоне, я мог читать ее наизусть с любого места. Я добился, руководство Йеля опубликовало ее с моими комментариями. Как вы знаете,

[25] Примечания: 25
Хитрость (*англосакс., англ.*).

баллада рассказывает о победе скандинавов, но утверждать, будто она повлияла на позднейшие исландские саги, — невозможно, нелепо… Я просто хотел польстить англоязычным читателям.

Теперь о главном, о моей полемической заметке в «Yale Monthly»[26]. Вы, думаю, заметили, что она отстаивает (или пытается отстоять) мой подход, заведомо преувеличивая недостатки вашего, который за скуку преодоления трех тысяч запутанных и беспрерывных стихов, излагающих более чем смутный сюжет, обещает снабдить студента словарным богатством, дающим возможность — если он к тому времени не сбежит — наслаждаться всем целым англосаксонской словесности. Моей истинной целью было попасть в Висконсин. Мы с вами знаем, дорогой друг: все эти симпозиумы — сплошная глупость и лишние расходы, но без них не обходится ни один curriculum[27].

Уинтроп посмотрел на собеседника в замешательстве. Тот выглядел человеком разумным, но принимал всерьез такие вещи, как съезды и мироздание, которые вполне могли быть чьей-то

---

[26] Примечания: 26
«Йельский ежемесячник» (*англ.*).

[27] Примечания: 27
Послужной список (*лат.*).

надмирной шуткой. Эйнарсон продолжал:

— Вы, может быть, помните наш первый разговор. Я приехал из Нью-Йорка. Было воскресенье, университетская столовая не работала, и мы отправились перекусить в «Найтхоук». За те часы я многое понял. Как обычный европеец, я всегда считал войну между Севером и Югом крестовым походом против рабовладельцев. Вы же стояли на той точке зрения, что в желании Юга отделиться и сохранить собственный уклад была своя правота. Для вящей убедительности вы еще подчеркнули, что сами — с Севера, а один из ваших предков даже сражался в частях Генри Халлека. Вы расхваливали отвагу конфедератов. Не знаю, как другие, а я почти сразу уяснил, с кем имею дело. Одного утра оказалось достаточно. Я понял, дорогой Уинтроп, что вами правит смешная американская страсть к непредубежденности. Вы хотели бы в любом случае остаться fairminded[28]. Именно поэтому вы, северянин, изо всех сил старались понять и оправдать южан. Узнав, что моя поездка в Висконсин зависит от нескольких ваших слов Розенталю, я решил применить свое маленькое открытие на деле. Я знал, что самый

[28] Примечания: 28
Непредвзятый (*англ.*).

надежный способ добиться вашей рекомендации — обрушиться на тот подход, который вы ежедневно излагаете с кафедры. Статья была готова в мгновение ока. По обычаям ежемесячника, пришлось ограничиться инициалами, но я сделал все возможное, чтобы ни одна душа не усомнилась в моем авторстве. Помимо прочего, я попросту рассказал о нем коллегам.

Повисло долгое молчание. Нарушил его Уинтроп.

— Теперь понятно, — сказал он. — Я старый друг Герберта и с уважением отношусь к его работам; вы, прямо или косвенно, напали на меня. Отказать вам в рекомендации значило бы сводить счеты. Я сопоставил достоинства обоих претендентов, результат вы знаете. — И добавил, как будто про себя: — Наверно, я и вправду поддался тщеславию — не захотел платить той же монетой. Что ж, ваш маневр удался.

— Вы нашли точное слово, «маневр», — отозвался Эйнарсон. — Но я себя не упрекаю. Нашему отделению это пойдет только на пользу. К тому же я решил, что должен, обязательно должен попасть в Висконсин.

— Впервые вижу настоящего викинга, — сказал Уинтроп и посмотрел собеседнику прямо в глаза.

— Еще одно ваше романтическое заблуждение. Не всякий скандинав — викинг. Скажем, мои предки были добрыми пасторами евангелической церкви; может быть, в десятом веке они точно так же служили Тору, но мореходов, насколько знаю, у нас в роду не было.

— А в моем их было как раз немало, — откликнулся Уинтроп. — И все-таки мы похожи. Нас с вами роднит один грех — тщеславие. Вы зашли ко мне, чтобы похвастать удачным маневром, я поддержал вашу кандидатуру, чтобы показать, какой я прямодушный.

— Нас роднит другое, — ответил Эйнарсон. — Национальная принадлежность. Я — американский гражданин. И моя судьба — здесь, а не в дальней Фуле. Но вы скажете, что паспортом натуру не переиначишь…

Они пожали друг другу руки и простились.

Авелино Арредондо

Произошло это в Монтевидео в 1897 году.

Каждую субботу несколько друзей усаживались в кафе «Глобо» за один и тот же боковой столик — так поступают люди хорошо воспитанные, но бедные, которые сознают, что пригласить к себе домой неудобно, или желают хоть на время вырваться из обычной своей среды. Все они были монтевидеанцы, и вначале им было непросто сойтись с провинциалом Арредондо, не склонным к откровенности и не любившим задавать вопросы. Было ему чуть больше двадцати лет — худощавый, смуглый, невысокого роста и, пожалуй, немного неуклюжий. Лицо его не привлекло бы внимания, если бы не глаза, одновременно и сонные и энергические. Он служил в галантерейной лавке на улице Буэнос-Айрес, а в свободное время изучал право.

Когда при нем осуждали войну, которая разоряла страну и, по общему мнению, затягивалась президентом из недостойных побуждений, Арредондо молчал. Молчал он и тогда, когда над ним подтрунивали за скупость.

Вскоре после сражения в Серро-Бланко Арре-

дондо сказал друзьям, что на некоторое время с ними расстается, — ему надо съездить в Мерседес. Это сообщение никого не встревожило. Кто-то посоветовал быть поосторожней, ведь там орудуют гаучо Апарисио Саравии. Улыбаясь, Арредондо ответил, что он не боится бланко. Другой приятель, состоявший в партии, ничего не сказал.

Труднее было проститься со своей невестой Кларой. Но и ей он сказал почти то же самое. Предупредил, чтобы не ждала от него писем, он, мол, будет очень занят. Клара, не привыкшая писать, выслушала объяснение, не протестуя. Оба искренне любили друг друга.

Жил Арредондо в предместье. Ему прислуживала мулатка, носившая ту же фамилию, так как ее родители были рабами его семьи во времена Великой войны. Ей можно было полностью доверять, и Авелино распорядился: если кто-либо будет его спрашивать, пусть скажет, что он уехал в деревню. К этому дню он получил свое последнее жалованье в галантерейной лавке.

Затем он перебрался в комнату, выходившую в немощеный внутренний дворик. Смысла в этом большого не было, однако там, решил он, ему будет легче начать свое добровольное заточение.

Лежа на узкой железной кровати, на которой он

теперь мог вволю отдыхать, как бывало прежде, он с легкой грустью смотрел на пустую книжную полку. Все свои книги он продал, даже «Введение в юриспруденцию». Осталась только Библия, в которую он обычно не заглядывал и которую до конца не дочитал.

Теперь он стал изучать ее страница за страницей, порой с интересом, порой со скукой, и поставил себе задачу выучить наизусть какую-нибудь главу из Исхода и заключение Екклесиаста. Вникать в то, что он читал, он даже не старался. Он был вольнодумцем, однако каждый вечер непременно читал «Отче наш», как обещал матери, уезжая в Монтевидео. Нарушить сыновнее обещание он не решался, опасаясь, что это может принести ему неудачу.

Он знал, что назначенный час наступит утром двадцать пятого августа. Знал точно, сколько дней остается до того срока. Когда же срок настанет, течение времени прекратится, вернее, будет уже безразлично, что произойдет потом. Он ждал этой даты, как ждут счастья или освобождения. Он остановил свои часы, чтобы не смотреть на них постоянно, но каждую ночь, услышав двенадцать глухих ударов колокола, отрывал листок календаря и думал: «Одним днем меньше».

Сперва он пытался установить некий распорядок дня. Пил мате, курил сигареты, которые сам набивал, читал и перечитывал определенное количество страниц, пробовал разговаривать с Клементиной, когда она приносила на подносе еду, повторял и дополнял будущую свою речь, прежде чем погасить свечу. Беседовать с Клементиной, женщиной пожилой, было не очень легко — все ее помыслы и воспоминания были о деревне, о деревенской жизни.

Были у него также шахматы, и он разыгрывал как попало партии, даже не доводя их до конца. Одной ладьи не хватало, он заменял ее пулей или винтеном.

Чтобы заполнить время, Арредондо каждое утро, орудуя тряпкой и шваброй, делал уборку и воевал с пауками. Мулатке не нравилось, что он унижает себя подобными занятиями, эта работа была по ее части, к тому же делал он ее неумело.

Он предпочел бы просыпаться попозже, когда солнце уже стоит высоко, но привычка вставать на рассвете оказалась сильней его желания. Он скучал по друзьям, сознавая, но без горечи, что они-то по нему не скучают, — ведь он всегда упорно молчал. Как-то пополудни один из них пришел навестить его, но гостя спровадили

прямо из прихожей. Мулатке он был незнаком, Арредондо так и не узнал, кто приходил. Нелегко было ему, жадному читателю газет, отказаться от этих собраний эфемерных мелочей. Он не был человеком мысли и не ведал сомнений.

Дни его и ночи были все одинаковы, но особенно трудно приходилось по воскресеньям.

В середине июля он сообразил, что, пожалуй, поступал неправильно, пытаясь дробить время, которое, хочешь не хочешь, уносит нас с собой. Тогда он дал волю воображению — стал представлять себе обширные Восточные земли, ныне политые кровью, холмистые окрестности Санта-Ирене, где он запускал воздушных змеев, небольшую свою лошадку, которая уже, наверно, умерла, тучи пыли, поднимаемой стадом, когда скототорговцы перегоняют скот, ветхий дилижанс, который каждый месяц приезжал в Фрай-Бентос с галантерейным товаром, залив Ла-Аграсиада, где высадились Тридцать Три, он видел Эрвидеро, утесы, горы и реки, видел холм, по которому, бывало, поднимался до самого маяка с мыслью, что на обоих берегах Ла-Платы второго такого холма нет. От холма над заливом он однажды дошел до холма, который изображен в гербе, и там уснул.

Каждую ночь бриз приносил прохладу, спалось хорошо. Бессонницей Авелино не страдал.

Невесту свою он любил всей душой, однако сказал себе, что мужчина не должен думать о женщинах, особенно тогда, когда лишен их общества. Жизнь в деревне приучила его к целомудрию. Что ж до того, другого человека… он старался как можно меньше думать о том, кого ненавидел.

Иногда его мыслям служил аккомпанементом барабанивший по крыше дождь.

Для узника или для слепого время течет незаметно, как поток по пологому склону. К середине срока своего заточения Арредондо неоднократно удалось испытать это ощущение времени как бы остановившегося. В их дворике был бассейн, в котором жила жаба; Авелино ни разу не пришло на ум, что время жабы, граничащее с вечностью, есть именно то, чего он жаждал.

Когда назначенная дата была уже близка, нетерпение снова овладело им. Однажды вечером он не выдержал и вышел на улицу. Все показалось ему другим, как бы увеличенного размера. Обогнув угол, он увидел свет и зашел в таверну. Для приличия попросил стакан вина. Несколько солдат, облокотясь на стойку, перего-

варивались. Один сказал:

— Вы же знаете, рассказывать о военных действиях строго запрещено. А вчера вечером случилась история, которая вас позабавит. Проходили мы с товарищами по казарме мимо редакции «Расон». Слышим с улицы, как кто-то там внутри нарушает этот приказ. Недолго думая, заходим в дом. Темно было хоть глаз выколи, но мы все равно дали залп по болтуну. Когда он умолк, кинулись взять его, чтобы за руки, за ноги вытащить, и тут видим, что это машина, которая называется «фонограф», это она сама по себе говорила.

Все рассмеялись.

Арредондо слушал молча. Тот же солдат обратился к нему:

— Что скажешь, приятель? Хороша шутка?

Арредондо молчал. Солдат приблизил к нему лицо и сказал:

— А ну-ка кричи сейчас же: «Да здравствует президент нашей страны Хуан Идиарте Борда!»

Арредондо не стал упираться. Под гул насмешливого одобрения он направился к выходу. Уже за порогом его настигло последнее оскорбление:

— То-то же, сдрейфил! Береженого Бог бережет!

Да, он поступил как трус, но он знал, что он не трус. И он медленно побрел домой.

Двадцать пятого августа Авелино Арредондо проснулся после девяти. Сперва он подумал о Кларе и только затем — о дате. И с облегчением сказал себе: «Конец этому нудному ожиданию! Вот и настал день».

Он не спеша побрился — лицо в зеркале было таким, как всегда. Выбрал яркий галстук, самую лучшую одежду. Позавтракал поздно. Серое небо грозило дождем, а он-то все время представлял себе его лучезарным. С чувством легкой горечи покидал он навсегда свою сырую комнату. В прихожей встретил мулатку и отдал ей последние оставшиеся у него песо. Увидел на металлическом замке разноцветные ромбы и отметил, что прошло более двух месяцев, а он ни разу о них не подумал. Направился он на улицу Саранди. День был праздничный, прохожих было очень мало.

Еще не пробило три часа, когда он вышел на площадь Матрис. Торжественное молебствие в храме уже закончилось, по широким ступеням спускались господа в штатском, военные и духовные особы. Глядя на все эти цилиндры, которые кое-кто еще держал в руке, на мундиры, позументы, оружие и облачение, могло показаться, что народу там много, но в действительности было не более человек тридцати. Страха Арредондо не

испытывал, но почувствовал что-то вроде почтения. Спросил у зевак, который там президент.

— Вон тот, рядом с архиепископом, что в митре и с посохом, — ответили ему.

Арредондо достал револьвер и выстрелил.

Идиарте Борда сделал несколько шагов, упал ничком и внятно произнес: «Меня убили».

Арредондо сдался властям. На следствии он заявит:

— Я — колорадо, объявляю об этом с гордостью. Я убил президента за то, что он предавал и позорил нашу партию. Я порвал с друзьями и с невестой, чтобы не запутать их; я не читал газет, чтобы никто не мог сказать, будто меня подстрекали. Этот акт справедливости — полностью мое дело. А теперь судите меня.

Так, возможно, происходили эти события, хотя, быть может, все обстояло сложнее; но так могу их себе вообразить я.

Диск

Я дровосек. Не важно, как меня зовут. Мое жилище, в котором я родился и в котором скоро умру, стоит на опушке леса. По слухам, этот лес простирается до самого моря, которое омывает всю землю и которое бороздят деревянные дома наподобие моего. Так ли это, не знаю. Да и лес от края и до края я никогда не проходил. В детстве мой старший брат заставил меня поклясться, что вдвоем с ним мы будем валить лес до тех пор, пока ни одного дерева не останется. Мой брат умер, а у меня теперь уже давно и навсегда другая забота. Неподалеку течет ручей, рыбу в котором я ловлю руками. В лесу встречаются волки, но волки меня не пугают, а топор ни разу еще меня не подводил. Сколько мне лет, я не знаю. Немало, это уж точно. Я почти ослеп. В деревне, в которую, дабы не заблудиться, я давно не хожу, меня считают скупцом; но много ли может скопить дровосек?

Я привалил камень ко входной двери, чтоб не наносило снега. Однажды я услышал усталые шаги, и в дверь постучали. Я открыл. В дверь вошел незнакомец. Это был высокий старик, его плащ

был в прорехах. Лицо его пересекал рубец. Годы давали о себе знать скорее умудренностью, чем немощью, однако я заметил, что без посоха ему было бы не обойтись. Мы обменялись словами, которые память не сохраняет. Затем он сказал:

— Дома у меня нет, а ночую я где придется. Я прошел пешком всю Страну Саксов.

Его слова соответствовали годам. Мой отец тоже говорил «Страна Саксов», а теперь для всех это «Англия».

У меня были рыба и хлеб. Ели мы молча. Пошел снег. В углу на земляном полу, где умер мой брат, из звериных шкур я приготовил постель. С наступлением ночи мы уснули.

Когда мы вышли из дома, уже рассветало. Распогодилось, и мы шли по нападавшему за ночь белому снегу. Он уронил посох и приказал мне его поднять.

— Разве я обязан тебе подчиняться? — спросил я.

— Да, ибо я король, — ответил он.

Он сумасшедший, подумал я, подавая ему посох.

Теперь он заговорил иначе:

— Я король секгенов. Не раз и не два я приводил их к победе, но в решающем сражении я потерял

свое королевство. Меня зовут Изерн, и я веду свой род от Одина.

— Я поклоняюсь не Одину, — сказал я. — Я поклоняюсь Христу.

Он продолжал, не обращая внимания на мои слова:

— Я иду путями изгнанника, но я король, ибо у меня есть диск. Показать тебе его?

Он разжал костлявый кулак. В нем ничего не было. Ладонь была пуста. Только сейчас я вспомнил, что до этого он не разжимал его ни разу.

Пристально глядя на меня, он сказал:

— Можешь коснуться.

С некоторой опаской я дотронулся кончиками пальцев до его ладони. Я почувствовал холод и увидел, как что-то сверкнуло. В то же мгновение его пальцы сомкнулись. Я ждал. Незнакомец продолжал, как если бы он говорил с ребенком:

— Это диск Одина. У него есть только обратная сторона. Подобного ему нет на всей земле. Пока я владею им, я король.

— Он из золота? — спросил я.

— Не знаю. Это диск Одина, и у него одна-единственная сторона.

Мне неудержимо захотелось завладеть диском. Будь он моим, я обменял бы его на золотой слиток

и стал королем.

Я предложил бродяге, которого ненавижу до сей поры:

— У меня есть сундук, полный золотых монет. Топор не сверкает так, как сверкают они. Отдай мне диск Одина, и я отдам тебе этот сундук.

— Не хочу, — сказал незнакомец.

— Тогда, — сказал я ему, — иди своей дорогой.

Он повернулся ко мне спиной. Удара топором в затылок хватило, чтобы он пошатнулся и рухнул, при падении разжав кулак. Снова что-то сверкнуло. Топором я надежно отметил это место, а труп отнес к ручью, который становился все полноводней. И столкнул в него.

Подойдя к дому, я попытался отыскать диск. Но не нашел. Все эти годы я продолжаю искать его.

Книга Песка

…thy rope of sands…
***George Herbert*[29]**
(1593–1623)

Линия состоит из множества точек, плоскость — из бесконечного множества линий; книга — из бесконечного множества плоскостей; сверхкнига — из бесконечного множества книг. Нет, решительно не так. Не таким more geometrico[30] должен начинаться рассказ. Сейчас любой вымысел непременно сопровождается заверениями в его истинности, но мой рассказ и в самом деле — чистая правда.

Я живу один в четвертом этаже на улице Бельграно. Несколько месяцев назад, в сумерках, в дверь постучали. Я открыл, и вошел незнакомец. Это был высокий человек с бесцветными чертами, что, возможно, объясняется моей близорукостью. Облик его выражал пристойную бедность.

---

[29] Примечания: 29
…твой песчаный канат… — Джордж Херберт (*англ.*).

[30] Примечания: 30
Геометрическим способом (*лат.*).

Он сам был серый, и саквояж в его руке тоже был серый. В нем чувствовался иностранец. Сначала он показался мне старым, потом я понял, что его светлые, почти белые — как у северян — волосы сбили меня с толку. За время нашего разговора, продолжавшегося не более часа, я узнал, что он с Оркнейских островов.

Я указал ему стул. Незнакомец не торопился начать. Он был печален, как теперь я.

— Я продаю библии, — сказал он.

С некоторым самодовольством я отвечал:

— В этом доме несколько английских библий, в том числе первая — Джона Уиклифа. Есть также Библия Сиприано де Валеры и Лютерова, в литературном отношении она хуже других, и экземпляр Вульгаты. Как видите, библий хватает.

Он помолчал и ответил:

— У меня есть не только библии. Я покажу вам одну священную книгу, которая может заинтересовать вас. Я приобрел ее в Биканере.

Он открыл саквояж и положил книгу на стол. Это был небольшой том в полотняном переплете. Видно было, что он побывал во многих руках. Я взял книгу. Ее тяжесть была поразитель-

на. На корешке стояло: «Holy Writ»[31] и ниже: «Bombay»[32].

— Должно быть, девятнадцатый век, — заметил я.

— Не знаю. Этого никогда не знаешь, — был ответ.

Я наугад раскрыл книгу. Очертания букв были незнакомы. Страницы показались мне истрепанными, печать была бледная, текст шел в два столбца, как в Библии. Шрифт убористый, текст разбит на абзацы. В верхнем углу стояли арабские цифры. Я обратил внимание, что на четной странице стояло число, скажем 40 514, а на следующей, нечетной, — 999. Я перевернул ее — число было восьмизначным. На этой странице была маленькая, как в словарях, картинка: якорь, нарисованный пером, словно неловкой детской рукою.

И тогда незнакомец сказал:

— Рассмотрите хорошенько, вам больше никогда ее не увидеть.

В словах, а не в тоне звучало предостережение.

Я заметил страницу и захлопнул книгу. И тут

---

[31] Примечания: 31
«Священное Писание» (*англ.*).

[32] Примечания: 32
Бомбей (*англ.*).

же открыл ее. Напрасно я искал, страница за страницей, изображение якоря. Скрывая растерянность, я спросил:

— Это священные тексты на одном из языков Индостана, правда?

— Да, — ответил он. Потом понизил голос, будто поверяя тайну: — Она досталась мне в одном равнинном селении в обмен на несколько рупий и Библию. Ее владелец не умел читать, и думаю, что эту Книгу Книг он считал талисманом. Он принадлежал к самой низшей касте, из тех, кто не смеет наступить на свою тень, дабы не осквернить ее. Он объяснил мне, что его книга называется Книгой Песка, потому что она, как и песок, без начала и конца.

Он попросил меня найти первую страницу. Я положил левую руку на титульный лист и плотно сомкнутыми пальцами попытался раскрыть книгу. Ничего не выходило, между рукой и титульным листом всякий раз оказывалось несколько страниц. Казалось, они вырастали из книги.

— Теперь найдите конец.

Опять неудача; я едва смог пробормотать:

— Этого не может быть.

Обычным, тихим голосом продавец библий

сказал:

— Не может быть, но так есть. Число страниц в этой книге бесконечно. Первой страницы нет, нет и последней. Не знаю, почему они пронумерованы так произвольно. Возможно, чтобы дать представление о том, что члены бесконечного ряда могут иметь любой номер. — Потом мечтательно, высоким голосом: — Если пространство бесконечно, мы пребываем в какой-то точке пространства. Если время бесконечно, мы пребываем в какой-то точке времени.

Его попытки философствовать раздражали. Я спросил:

— Вы верующий?

— Да, я пресвитерианец. Совесть моя чиста. Я уверен, что не обманул туземца, дав ему Слово Божие взамен этой дьявольской книги.

Я заверил его, что раскаиваться не в чем, и спросил, надолго ли он в наших краях. Он ответил, что через несколько дней собирается возвращаться на родину. Тогда-то я и узнал, что он шотландец с Оркнейских островов. Я признался в своей любви к Шотландии — из-за Стивенсона и Юма.

— И Роба Бернса, — добавил он.

Пока мы разговаривали, я все рассматривал бесконечную книгу. И с деланым безразличием

задал вопрос:

— Собираетесь предложить эту диковинку Британскому музею?

— Нет, я предлагаю ее вам, — ответил он и назвал довольно высокую цену.

В соответствии с истиной я ответил, что эта сумма для меня неприемлема, и задумался. За несколько минут у меня сложился план.

— Предлагаю вам обмен, — сказал я ему. — Вы получили этот том за несколько рупий и Священное Писание; предлагаю вам пенсию, которую только что получил, и Библию Уиклифа с готическим шрифтом. Она досталась мне от родителей.

— Готическую Уиклифа! — прошептал он.

Я вынес из спальни и отдал ему деньги и книгу. Он принялся листать страницы и ощупывать переплет с жаром библиофила.

— По рукам.

Странно было, что он не торговался. И только потом я понял, что он появился у меня, намереваясь расстаться с книгой. Деньги он спрятал не считая.

Мы поговорили об Индии, об Оркнейских островах и о норвежских ярлах, которые когда-то правили ими. Когда он ушел, был вечер. Я не узнал имени этого человека и больше не видел

его.

Я собирался поставить Книгу Песка на место уиклифовской Библии, потом передумал и спрятал ее за разрозненными томами «Тысячи и одной ночи».

Я лег, но не заснул. Часа в четыре рассвело. Я взял мою невероятную книгу и стал листать страницы. На одной была выгравирована маска. В верхнем углу стояло число, не помню какое, в девятой степени.

Я никому не показывал свое сокровище. К радости обладания книгой примешивался страх, что ее украдут, и опасение, что она все-таки не бесконечна. Эти волнения усилили мою всегдашнюю мизантропию. У меня еще оставались друзья — я перестал видеться с ними. Пленник книги, я почти не появлялся на улице. Я рассматривал в лупу потертый корешок и переплет и отгонял мысли о возможной мистификации. Я заметил, что маленькие картинки попадаются страниц через двести. Они никогда не повторялись. Я стал отмечать их в записной книжке, и она тут же заполнилась. Ночью, в редкие часы, когда не мучила бессонница, я засыпал с книгой.

Лето шло к концу, и я понял, что книга чудовищна. То, что я, не отводивший от нее глаз и

не выпускавший ее из рук, не менее чудовищен, ничего не меняло. Я чувствовал, что эта книга — порождение кошмара, невыносимая вещь, которая бесчестит и отрицает действительность.

Явилась мысль о костре, но было страшно, что горение бесконечной книги может длиться бесконечно и задушить дымом всю планету.

Вспомнилось вычитанное где-то: лист лучше всего прятать в лесу. До ухода на пенсию я работал в Национальной библиотеке, в которой хранится девятьсот тысяч книг. Я знал справа от вестибюля крутую лестницу в подвал, где сложены газеты и карты; воспользовавшись невнимательностью сотрудников, я оставил там Книгу Песка на одной из сырых полок и постарался забыть, как далеко от двери и на какой высоте.

Стало немного легче, но о том, чтобы появиться на улице Мехико, не хочется и думать.

Послесловие

Предисловие к новеллам, которые еще не прочли, — вещь почти непосильная: приходится затрагивать их сюжеты, а значит — забегать вперед. Поэтому я предпочел эпилог.

Первый рассказ книги снова берется за старую тему двойника, которую разрабатывало — и не раз — всегда удачливое перо Стивенсона. В Англии подобное явление называют fetch, или, на более книжный манер, wraith of living, в Германии — Doppelgaenger. Подозреваю, что одним из первых его прозвищ было alter ego. Эти призрачные фигуры порождает гладь зеркала или воды либо просто память, которая превращает каждого в зрителя и актера одновременно. Собеседники по моему замыслу должны были выглядеть достаточно разными, чтобы оставаться двоими, и достаточно похожими, чтобы казаться одним. Нужно ли объяснять, что я задумал эту историю на берегах реки Чарлз в Новой Англии, чье холодное течение напомнило мне далекое течение Роны?

Любовная тема нередко встречается у меня в стихах, чего не скажешь о прозе, где единствен-

ный ее пример — «Ульрика». Читатели, конечно, заметят формальную близость этой новеллы к рассказу «Другой».

Среди рассказов книги «Конгресс» метит выше других. Его тема — предприятие таких масштабов, что в конце концов оно охватывает весь мир и человеческий век. Смутное начало замышлялось по образцу новелл Кафки; в конце я задумывал — и, видимо, напрасно — подняться до озарений Честертона или Джона Беньяна. В жизни я подобных откровений не удостоивался, но мечтать о них мне случалось. По ходу рассказа я, как обычно, прошил его автобиографическими подробностями.

Судьба, которая, как известно, непостижима, не оставляла меня в покое, подталкивая написать что-то вроде посмертной новеллы Лавкрафта — писателя, всегда казавшегося мне невольной пародией на Эдгара По. В конце концов я уступил: плачевный результат носит название «There are more things».

«Секта тридцати», не опираясь ни на какие документы, выдает себя за изложение одной из возможных ересей.

«Ночь даров» — вероятно, самый простодушный, самый жестокий и самый безудержный

рассказ книги.

В «Вавилонской библиотеке» (1941) представлено бесконечное количество книг, в новеллах «Ундр» и «Зеркало и маска» — многовековые литературы, сведенные к единственному слову.

«Утопия уставшего» — по-моему, наиболее скромная и грустная вещь сборника.

Меня всегда поражала озабоченность североамериканцев этической стороной жизни; в «Искушении» я пытаюсь отразить это свойство.

Вопреки Джону Фельтону и Шарлотте Корде, вопреки известному мнению Риверы Индарте («Прикончить Росаса — священный долг каждого») и национальному гимну Уругвая («Дрожи, тиран: готовит Брут кинжал») я не одобряю политических убийств. Как бы там ни было, читающие об убийце-одиночке Авелино Арредондо имеют полное право знать, чем все кончилось. Луис Мельян Лафинур пытался оправдать юношу, но судьи Карлос Фейн и Кристобаль Сальваньяк приговорили его к заточению в одиночной камере сроком на месяц и к пяти годам тюрьмы. Сегодня одна из улиц Монтевидео носит его имя.

Две противоположные и равно непостижимые вещи — предмет двух последних новелл. В «Диске» — это евклидов кружок, у которого только

одна сторона, в «Книге Песка» — том, чьи страницы неисчислимы.

Надеюсь, что мои краткие заметки, которые я уже заканчиваю диктовать, не исчерпывают данной книги, а ее сны будут и дальше ветвиться в гостеприимном воображении тех, кто держит сейчас в руках этот томик.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 3 февраля 1975 г.

Память Шекспира

Кто-то поклоняется Гёте, «Эддам» или запоздалой «Песни о Нибелунгах»; моей судьбой был Шекспир. Был и остается, но в совсем особом смысле: о нем до этой минуты не подозревал никто, кроме единственного человека — Дэниэла Торпа, только что скончавшегося в Претории. Есть еще один, но я никогда не видел его в лицо.

Меня зовут Герман Зёргель. Любознательный читатель мог перелистывать мою «Хронологию Шекспира», которая в свое время считалась обязательным пособием для углубления в шекспировские тексты и была переведена на несколько языков, включая испанский. Возможно, припомнит он и длительную полемику вокруг некоей поправки, внесенной Теобальдом в подготовленное им критическое издание 1734 года и с тех пор неоспоримо входившей в канон. Сегодня я поражаюсь невежливому тону тогдашних своих теперь уже почти не принадлежащих мне страниц. Году в 1914-м я подготовил (но не отдал в печать) исследование сложных слов, изобретенных Джорджем Чапменом для пере-

водов Гомера и повернувших английский язык — чего этот эллинист и драматург, понятно, не предполагал — к его англосаксонскому истоку (Ursprung). Никогда не думал, что чапменовский голос, который я сегодня не могу вспомнить, будет для меня таким привычным… Отдельный оттиск некоей подписанной инициалами статьи, кажется, завершает мою библиографию. Не знаю, вправе ли я добавить сюда неопубликованный перевод «Макбета», за который взялся, чтобы не думать о смерти брата, Отто Юлиуса, погибшего на Западном фронте в 1917 году. Он не закончен; я понял, что английский язык располагает двумя регистрами — германским и латинским, тогда как наш немецкий, более музыкальный, все-таки вынужден обходиться одним.

Я упомянул о Дэниэле Торпе. Нас познакомил майор Баркли на одной шекспировской конференции. Не буду называть ее места и времени, понимая всю приблизительность подобной точности.

Важней, чем лицо Торпа — слабое зрение помогло мне тут же стереть его черты, — был явно несчастный вид этого человека. С годами научаешься изображать многое, только не радость. Дэниэл Торп физически излучал тоску.

После долгого дня заседаний ночь застала нас в кабачке. Чтобы почувствовать себя в Англии (где все и происходило), мы потягивали из ритуальных оловянных кружек тепловатое темное пиво.

— Как-то раз в Пенджабе, — рассказывал майор, — мне показали одного попрошайку. По исламскому преданию, у царя Соломона был перстень, который помогал ему понимать язык птиц. Говорили, что потом перстень достался этому нищему. Сокровище было бесценным, так что владелец не мог его продать. Попрошайка умер во дворике мечети Вазил-хана в Лахоре.

Я подумал, что у Чосера тоже есть история о чудесном перстне, но не хотел портить Баркли его рассказ.

— А перстень? — вместо этого спросил я.

— Как всякий волшебный предмет, его не нашли. Может быть, он теперь в каком-нибудь тайнике, там же в мечети, или на пальце у человека, живущего в краях, где нет птиц.

— Или их там столько, — вставил я, — что не поймешь, где чей голос. Ваша история, Баркли, похожа на притчу.

Тут и заговорил Дэниэл Торп. Казалось, он ни к кому не обращается, на нас он не смотрел. Было в его английском что-то особенное, я приписал это

долгому пребыванию на Востоке.

— Это не притча, — сказал он, — а если притча, то она говорит правду. Есть бесценные вещи, которые невозможно продать.

Слова, которые я пытаюсь сейчас воссоздать, подействовали на меня куда меньше, чем убежденность произнесшего их Торпа. Казалось, он хотел сказать еще очень много, но оборвал себя, пожалев о начатом. Баркли откланялся. Мы вернулись в гостиницу вдвоем. Час был поздний, но Дэниэл Торп предложил зайти к нему договорить. После нескольких избитых фраз он произнес:

— Я предлагаю Соломонов перстень вам. Конечно, это метафора, но то, что она подразумевает, — не меньшее чудо, чем царский перстень. Я предлагаю вам память Шекспира, всю — от первых детских лет до начала апреля тысяча шестьсот шестнадцатого года.

Я ничего не ответил. Представьте, что вам предлагают море.

Торп продолжал:

— Я не обманщик, не сумасшедший. Прошу, выслушайте меня, прежде чем принять решение. Майор рассказал бы вам, что по роду занятий я — военный врач, верней, был врачом. Сама история уместится в несколько слов. Все нача-

лось на Востоке, в лазарете, поутру. Когда — не важно. Рядовой Адам Клэй, в котором сидели две пули, перед смертью чуть слышным голосом предложил мне эту бесценную память. Агония и горячка убеждают; я, хоть и без особой уверенности, принял предложение. Если сравнивать с войной, уже ничему не удивляешься. Клэй едва успел объяснить условия дара: даритель должен его вслух предложить, получатель — тоже вслух — принять. Первый навсегда теряет отданное.

Имя солдата и патетическая сцена передачи показались мне, в дурном смысле слова, литературой.

С некоторым страхом я спросил:

— Так что, вы владеете сейчас памятью Шекспира?

Торп ответил:

— Я владею двойной памятью. Одна — моя собственная, другая — Шекспира, которого я отчасти в себе несу. Но лучше сказать, эта двойная память владеет мной. Есть такая область, где они совпадают. Есть одно женское лицо, о котором я не знаю, к какому веку его отнести.

Тогда я спросил:

— А как вы распорядились памятью Шекспира?

Он помолчал. Потом ответил:

— Написал романизированную биографию, отмеченную единодушным презрением критиков и некоторым коммерческим успехом в Соединенных Штатах и в колониях. Кажется, все. Предупреждаю вас: мой подарок — не синекура. Теперь я жду вашего ответа.

Я задумался. Разве я не посвятил всю свою серую, чужую мне жизнь поискам Шекспира? И разве не будет справедливо, если я найду его в конце пути?

Отчетливо выговаривая каждое слово, я произнес:

— Я принимаю память Шекспира.

В эту минуту что-то явно произошло, но я ничего не почувствовал.

Может быть, легкую усталость, скорее всего — придуманную.

Ясно помню, как Торп сказал:

— Память уже вошла в ваше сознание, но ей нужно время проявиться. Это произойдет — во сне, наяву, над страницами книги, на повороте за угол. Не подгоняйте себя, не выдумывайте воспоминаний. Случай вам поможет — или помешает, такова уж его таинственная природа. Чем больше я буду забывать, тем больше будете вспоминать

вы. Точнее сказать не могу.

Остаток ночи мы посвятили спорам о характере Шейлока. Я удерживался от вопроса, знал ли Шекспир евреев в жизни. Не хотелось, чтобы Торп подумал, будто я требую у него доказательств. То ли с облегчением, то ли с беспокойством я отметил, что он пользуется такими же условными, чисто академическими доводами, что и я.

Следующую ночь я тоже почти не спал. Уже в который раз я убедился в своем малодушии. Из боязни быть обманутым я не решался поверить щедрым обещаниям надежды. Говорил себе, что появление Торпа — галлюцинация. Но неотразимая надежда брала верх. Шекспир станет моим, каким — ни в любви, ни в дружбе и даже в ненависти — он не стал ни для кого другого. До какой-то степени я сам стану Шекспиром. Нет, я не буду писать трагедий и запутанных сонетов, но я сумею вспомнить ту минуту, когда мне привиделись ведьмы, они же — богини судьбы, и другую, подарившую мне неисчерпаемые строки:

> *And shake the yoke of inauspicious stars*
> *From this worldweary flesh*[33].

---

[33] Примечания: 33

Стряхну я иго несчастливых звезд / С моей усталой плоти (*англ.*). — «Ромео и Джульетта», V, 3; перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Я буду вспоминать Энн Хэтуэй, как теперь вспоминаю ту женщину, уже в годах, которая много лет назад впервые познакомила меня с любовью в одной из любекских меблирашек. (Пытаюсь вспомнить ее лицо, но вижу только пожелтевшие обои и сочащийся в окно свет. Думаю, тот первый провал предопределил потом все остальные.)

Я думал, образы моей необыкновенной памяти будут прежде всего зрительными. И не угадал. Несколько дней спустя, бреясь перед зеркалом, я вдруг произнес несколько слов, которым сам удивился и которые, как подсказал мне коллега, были из чосеровской «Азбуки». Однажды вечером, выходя из Британского музея, я поймал себя на том, что насвистываю какой-то нехитрый мотив, которого никогда не слышал.

Думаю, читатель уже по этим первым откровениям памяти уловил ее главную черту: при всем блеске отдельных метафор, она была скорее слуховой, чем зрительной.

Де Куинси утверждает, что человеческий ум устроен как палимпсест. Каждая новая запись скрывает предыдущую, чтобы самой скрыться под последующей, но всемогущая память в силах извлечь из глубин любое даже самое беглое впечатление, если дать ему необходимый стимул.

Судя по шекспировскому завещанию, у него в доме не было книг, даже Библии, но ведь хорошо известно, какие книги он читал. Чосер, Гауэр, Спенсер, Кристофер Марло. «Хроника» Холиншеда, Монтень в переводе Флорио, Плутарх в переводе Норта. Я владел, пусть еще скрытой, памятью Шекспира. Чтение, вернее, перечитывание этих старинных томов — вот что послужит мне нужным стимулом. Кроме того, я перечитал сонеты — самое непосредственное в его поэзии. Несколько раз обратился к комментарию или к разным комментариям. Хорошие стихи надо читать вслух; за несколько дней я овладел жестким «р» и открытыми гласными шестнадцатого века.

В «Zeitschrift für germanische Philologie»[34] я написал, что 127-й сонет отсылает к памятному разгрому Непобедимой армады. Я забыл, что этот тезис еще в 1899 году выдвинул Сэмюэл Батлер.

Поездка в Стретфорд-на-Эйвоне оказалась, как и следовало ожидать, совершенно бесплодной.

Потом сны начали постепенно меняться. Меня не посещали ни великолепные кошмары, в отличие от Де Куинси, ни благочестивые аллегорические картины, в отличие от его наставника

---

[34] Примечания: 34
«Журнал германской филологии» (*нем.*).

Жан-Поля. В мои ночи вошли незнакомые лица и дома. Первое узнанное мной лицо принадлежало Чапмену; потом появился Бен Джонсон и сосед поэта, который не фигурирует в биографиях, но которого Шекспир, скорее всего, видел каждый день.

Владея энциклопедией, вовсе не владеешь каждой ее строкой, каждым разделом, каждой страницей, каждым рисунком; просто владеешь возможностью все это при необходимости узнать. И если это верно для такой конкретной и сравнительно простой материи, к тому же расположенной в алфавитном порядке статей, то как может быть иначе с материей настолько абстрактной и неуловимой, ondoyant et divers[35], как чудесная память давно ушедшего человека?

Никому не под силу вместить в один миг всю полноту прошлого. Подобным даром не наделен, насколько знаю, ни Шекспир, ни я, его скромный наследник. Человеческая память — не сумма пережитого, а хаос неведомых возможностей. Если не ошибаюсь, Августин говорит о чертогах и подземельях памяти. Вторая метафора абсолютно точна. В эти подземелья я и спустился.

---

[35] Примечания: 35
Переменчивой и многообразной (*фр.*).

В памяти Шекспира, как любого из нас, есть темные области, обширные области намеренно забытого. Не без некоторого потрясения я вспомнил, как Бен Джонсон декламировал латинские и греческие гекзаметры, а слух, несравненный шекспировский слух, то и дело путал долгие и краткие слоги на потеху коллегам.

Я узнал радость и тоску, от которых зависит каждый. Долгое и усидчивое одиночество исподволь учило меня тем острей воспринимать чудо.

Через месяц память умершего меня уже окрыляла. Неделю мне было даровано неслыханное счастье: я считал себя почти Шекспиром. Его строки повернулись новой, неожиданной стороной. Я понял, что луна для Шекспира — не столько луна, сколько богиня Диана, и не столько Диана, сколько это темное, никак не приходящее в голову слово «moon». И еще одно открытие ждало меня. Явные упущения Шекспира, те случаи «absence dans l'infini»[36], которыми восторгался Гюго, были неслучайными. Шекспир не исправлял и даже вставлял их, чтобы речь, предназначенная для сцены, звучала непринужденно и не казалась слишком отшлифованной, искусственной (nicht

---

[36] Примечания: 36
Опьянение бесконечностью (*фр.*).

allzu glatt und gekünstelt). Поэтому же он наслаивал метафоры одну на другую:

My way of life
Is fall'n into the sear, the yellow leaf[37].

Однажды я почувствовал какую-то затаенную в памяти вину. Я не стал ее определять; это раз и навсегда сделал Шекспир. Скажу только, что та вина не имела ничего общего с извращением.

Я понял, что разграничение трех способностей человеческой души — памяти, разума и воли — не выдумка схоластиков. Память Шекспира могла только одно: раскрыть мне обстоятельства его жизни. А неповторимым поэта делали, конечно, не они; главным было то, во что он сумел превратить этот хрупкий материал, — стихи.

Вслед за Торпом я в простоте душевной принялся сочинять биографию. Но скоро убедился, что этот литературный жанр требует писательских умений, которых у меня нет. Я не умел рассказывать. Я не мог рассказать даже собственную историю, а уж она была куда необычней шекспировской. Кроме того, подобная книга оказалась бы ни к чему. Случай или судьба отмерили Шекспи-

[37] Примечания: 37

Уже усеян / Земной мой путь листвой сухой и желтой (*англ.*). — Перевод Ю. Корнеева.

ру столько же расхожего и чудовищного, сколько каждому. Но он сумел создать из этого сюжеты, героев, в которых было куда больше жизни, чем в придумавшем их седовласом человечке, стихи, оставшиеся в памяти поколений, музыку слова. Так зачем распутывать эту сеть, зачем вести под башню подкоп, зачем сводить к скромным масштабам документированной биографии или реалистического романа макбетовские шум и ярость?

Как известно, Гёте у нас в Германии — предмет официального культа; куда задушевней культ Шекспира, к которому мы примешиваем толику ностальгии. (В Англии предмет официального культа — Шекспир, бесконечно далекий от англичан; главная книга Англии — конечно, Библия.)

На первом этапе судьба Шекспира была для меня бесконечным счастьем, потом — воплощенным гнетом и ужасом. Вначале память каждого текла по своему руслу. Со временем могучая шекспировская стремнина нагнала и почти захлестнула мой скромный ручеек. Я с ужасом понял, что забываю родной язык. Память — основа личности; я стал опасаться за свой разум.

Друзья заходили по-прежнему; я поражался, как это ни один из них не видит, что я в аду.

Понемногу я переставал понимать окружающий обиход (die alltägliche Umwelt). Как-то утром я растерялся перед странными громадами из железа, дерева и стекла. Меня оглушили свистки, крики. Прошла секунда — мне она показалась бесконечной, — прежде чем я узнал паровоз и вагоны Бременского вокзала.

С годами каждому из нас приходится нести на себе растущий груз своей памяти. А у меня их было две (порою они срастались в одну): моя собственная память и память недоступного мне другого.

Каждая вещь на свете хочет оставаться собой, написал Спиноза. Камень хочет быть камнем, тигр — тигром. Я хотел снова стать Германом Зёргелем.

Не помню точно, когда я задумал вернуть себе свободу. Способ я выбрал самый простой. Позвонил по нескольким случайным номерам. Трубку снимали дети, женщины. Их я решил не беспокоить. Наконец послышался голос человека с образованием, мужчины. Я сказал:

— Хотите владеть памятью Шекспира? Говорю совершенно серьезно. Подумайте.

Голос с сомнением ответил:

— Что ж, я готов рискнуть. Принимаю память

Шекспира.

Я рассказал условия. Как ни странно, я чувствовал тоску по книге, которую должен был, но не дал себе написать, и вместе с тем страх, что призрак не покинет меня никогда.

Потом повесил трубку и с надеждой повторил смиренные слова:

Simply the thing I am shall make me live[38].

Когда-то я изобретал способы оживить в себе прежнюю память, теперь я искал способов ее стереть. Одним из них стало исследование мифологии Уильяма Блейка, взбунтовавшегося ученика Сведенборга. Я убедился, что она не столько сложна, сколько усложнена.

Этот и другие пути ни к чему не привели; все возвращало меня к Шекспиру.

Единственное, что еще внушает надежду, это строгая и неисчерпаемая музыка. Иначе говоря, Бах.

Постскриптум 1924 года. Я — самый обычный человек. Днем я — профессор в отставке Герман Зёргель, который ведет свою картотеку и пишет избитые вещи, сдобренные эрудицией. Но иногда по утрам я понимаю, что сны минуту назад видел

---

[38] Примечания: 38

Я и такой, как есть, не пропаду (*англ.*). — Перевод М. Донского.

кто-то другой. Из вечера в вечер меня преследуют беглые проблески памяти. Кажется, не придуманные.

Примечания

СООБЩЕНИЕ БРОУДИ

Предисловие

С. 9. *…в англосаксонской балладе о Мэлдоне…* — Слова из этой не раз вспоминавшейся Борхесом героической поэмы («and ne forhtedon na», «и не знали страха») выбиты теперь на лицевой стороне камня, поставленного над могилой Борхеса на женевском кладбище Пленпале.

С. 11. *Роберто Арльт* (1900–1942) — аргентинский прозаик и драматург.

С. 12. *…корят автора… за розово-соловую масть прославленного коня.* — В предисловии к одному из переизданий поэмы Эстанислао дель Кампо «Фауст» (издание 1969 г.) Борхес указывает, что сначала Эрнандес корил за это «фанфаронское подражание гринго» своего соперника дель Кампо, а позднее Висенте Росси упрекал его самого.

Непрошеная

В 1980 г. по новелле (Борхес сначала включил ее в третье издание книги «Алеф» 1966 г. и считал едва ли не лучшей из своих прозаических вещей)

снят фильм бразильского режиссера Карлоса Уго Кристенсена, музыку к нему написал Астор Пьяццола.

С. 13. *2 Цар. 1: 26* — «Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской».

Сантьяго Дабове (1889–1952) — аргентинский поэт и прозаик, друг юности Борхеса.

С. 15. *Хулиана Бургос* — фамилия героини взята из романа Р. Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра».

С. 20. *Сегодня я убил ее.* — Этот финал рассказа Борхесу подсказала мать.

Недостойный

Ряд исследователей (Р. Пилья, Ф. Соррентино, Б. Сарло) видят в рассказе влияние новеллы Роберто Арльта «Иуда Искариот».

С. 22. *Христиан Кнорр фон Розенрот* (1636–1689) — немецкий гебраист, его «Приоткрытая каббала» — два комментированных сборника каббалистических текстов (1677–1678 и 1684).

…гаучо-евреев не бывает вовсе. — Полемика с романом А. Герчуноффа «Гаучо-евреи» (1910).

С. 23. *Карлейль писал…* — В книге «Герои, культ героев и героического в истории» (1841).

Альфредо Бартоломе Гроссо (1867–1960) — аргентинский историк, имеется в виду его пособие

«Курс национальной истории» (1898), входившее в школьную программу.

С. 26. *Амаро* — ср. героя с этой фамилией в рассказе «Вторая смерть» в сборнике «Алеф».

С. 29. *…Эальд или Альт…* — Рикардо Пилья видит здесь намек на Арльта.

История Росендо Хуареса

Рассказ — новая, «дегероизирующая» версия старой, дебютной новеллы Борхеса «Мужчина из Розового кафе».

С. 35. *Ирала* — фамилия одной из ветвей семейства Борхесов (см. ее также в рассказе «Конгресс»).

С. 37. *Леандро Алем* (1845–1896) — аргентинский юрист и политический деятель, глава радикальной партии.

Встреча

С. 42. *Сусана Бомбаль* (1922–1970) — чилийская писательница. Борхес сопроводил предисловием ее книгу «Три воскресенья» (1957), посвятил ее памяти несколько стихотворений.

С. 50. *…до Гутьерреса и братьев Подеста…* — Известность образу Хуана Морейры и вообще бандита-поножовщика со столичной окраины принесла постановка мимической драмы по роману Э. Гутьерреса в буэнос-айресском цирке

братьев Подеста (она состоялась в 1884 г.).

Хуан Муранья

С. 53. *Роберто Годель* (1900–?) — аргентинский поэт. Борхес дружил с ним еще с начальных классов школы в Буэнос-Айресе, потом посылал ему письма из Европы, сопроводил своим предисловием книгу Годеля «Рождение огня» (1932), включил несколько его стихотворений в свою «Антологию аргентинской поэзии».

Старшая сеньора

В фигуре заглавной героини рассказа переплелись образы бабушек и матери Борхеса.

С. 62. *Канча-Раяда* — местность в Чили, где отряд Освободительной армии был разбит испанцами.

Майпу — селение в Чили, где войска Сан-Мартина разбили испанцев.

Арекипа — местность в Перу, где отрядами патриотов под командой *Хосе Валентина де Олаварриа* (1801–1845) была одержана в 1820 г. победа над испанскими войсками.

С. 63. *Карлос Мария де Альвеар* (1789–1852) — аргентинский политический и военный деятель.

Хуан Лавалье (1797–1841) — военный и политический деятель Аргентины.

Мануэль Орибе (1792–1857) — уругвайский

политический деятель, президент страны в 1835–1838 гг.; его конфликт с предыдущим президентом Хосе Фруктуосо Риверой и сближение с Х. М. де Росасом стали причиной гражданской (т. н. Великой) войны, закончившейся в 1853 г. поражением Орибе.

Флоренсио Варела (1807–1848) — аргентинский писатель и политический деятель, борец с диктатурой Росаса.

С. 66. *Олегарио Андраде* (1839–1882) — аргентинский журналист и поэт, участник гражданских войн.

С. 71. *Фигероа* — эту фамилию носит и главная героиня следующего рассказа книги — «Поединок».

Поединок

Среди возможных прототипов соперничающих героинь-подруг — Нора Борхес и Сильвина Окампо (она была еще и художницей, в частности — оформляла третью книгу стихов Борхеса).

С. 74. *Хуан Освальдо Вивиано* — буэнос-айресский издатель-меценат, в 1959 г. составил книжечку стихов Борхеса, вышедшую подарочным изданием.

С. 76. *Хуан Паскуаль Принглес* (1795–1831) — аргентинский военный, участвовал в боях за Хунин

и Аякучо, убит в схватке с отрядами Факундо.

С. 81. *Картахена* — город в Колумбии.

Другой поединок

С. 85. *Карлос Рейлес* (1868–1938) — уругвайский писатель, близкий к натурализму, автор романов «Каиново семя» (1900), «Земля» (1916) и др.

Нолан — фамилия, мелькавшая в рассказе «Тема предателя и героя» (в сборнике «Выдумки»).

С. 87. *Тридцать Три* — группа уругвайских патриотов, в годы бразильского господства высланных из страны и под руководством генерала Хуана Антонио Лавальехи поднявших в 1825 г. мятеж. Их военная экспедиция с территории Аргентины завершилась провозглашением государственной независимости и образованием в 1830 г. Республики Уругвай.

С. 88. *Тимотео Апарисио* (1814–1882) — уругвайский военный, возглавил мятеж «белых» в 1871 г.

С. 91. *«Ну-ну, парень, женщины и не такое терпят, а рожают».* — Цитата из романа отца писателя, Хорхе Гильермо Борхеса «Каудильо» (1921).

Гуаякиль

С. 93. *Гуаякиль* — город в Эквадоре, место секрет-

ных переговоров Боливара и Сан-Мартина 26–27 июля 1822 г. После их неудачи Сан-Мартин устранился от руководства Войной за независимость, и освобождение континента довершил Боливар.

Юзеф Коженёвский — настоящее имя английского писателя Дж. Конрада.

С. 96. *Мартин Хайдеггер* — упоминается здесь в связи с двусмысленной политической и моральной позицией, в которую поставил себя после прихода нацистов к власти.

…пляшущий Давид… — Библейский царь пляшет при перенесении ковчега Завета в Иерусалим (2 Цар. 6); соединение мотивов священного избранничества и непристойности доводится здесь до полной карикатуры сближением иудейского владыки с вождем арийского рейха.

С. 98. *…«нелепейшим одеянием».* — Точнее, «нескладнейшее платье», цитата из стихотворения А. Мачадо «Портрет» (сборник «Поля Кастилии»).

С. 102. *«Votre siège est fait»* (точнее — «Mon siège est fait») — ставшая крылатой фраза французского священника и историка Рене Обера, аббата Верто (1655–1735).

С. 105. *…два короля играют в шахматы…* — Этот отрывок из «Сна Хранабви» включен в состав-

ленный Борхесом и Бьоем Касаресом сборник «Краткие и поразительные истории».

Евангелие от Марка

Б. Сарло видит в новелле перекличку с повестью Э. Мартинеса Эстрады «Наводнение» (в 1984 г. Борхес написал предисловие к ее переизданию). Сюжет лег в основу фильма Александра Кайдановского «Гость» (1986), отдельные мотивы вошли в фильм английского режиссера Алекса Кокса «Смерть и буссоль» (1996).

С. 108. *…в «Тополях»…* — Так называлось загородное поместье семейства Сусаны Бомбаль (см. выше).

С. 109. *Отец… посвятил его в учение Герберта Спенсера…* — Автобиографический пассаж, которых в рассказе вообще очень много (ср. ниже в тексте о «суровом фанатизме кальвинистов» и гарнизонном прошлом Хунина времен борхесовского деда).

С. 111. *Карл Первый* (1600–1649) — английский король, низложен и казнен сторонниками Кромвеля.

С. 112. *«Табаре»* (1888) — поэма уругвайского романтика Хуана Соррильи де Сан-Мартина (1855–1931).

…Лагуна-де-Гомес… — Перечисляются места из

романа Р. Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра».

Сообщение Броуди

Имя героя почерпнуто из пьесы Р. Л. Стивенсона «Декан Броуди, или Двойная жизнь» (1884).

С. 119. *В экземпляре первого тома… Лейна…* — Его перевод «Тысячи и одной ночи» вышел в Лондоне в 1839 г.

С. 120. *Йеху* — примитивные люди в «Путешествии Гулливера» Свифта, поэтику которого стилизует рассказ.

С. 126. *…«Скоро мы услышим крик птицы».* — Ср. эту фразу в рассказе «Ульрика».

…переход евреев через Чермное море… — См.: Исх. 14.

КНИГА ПЕСКА

Другой

Первая публикация новеллы — отдельное иллюстрированное издание 1972 г.

С. 135. *…в Кембридже.* — Борхес читал курс лекций в здешнем университете.

С. 136. *…«Старый дом» Элиаса Регулеса.* — Это танго упоминалось в новелле «Встреча» (в сборнике «Сообщение Броуди»).

С. 137. *Томас Гордон* (?–1750) — английский

священник, писатель и переводчик.

Хосе Ривера Индарте (1814–1845) — аргентинский поэт и публицист.

С. 138. *Анри Фредерик Амьель* (1821–1881) — швейцарский писатель, известный своим «Дневником для одного себя» (частично опубл. 1883).

Площадь Дюфур — имеется в виду один из «веселых» домов Женевы, где — по инициативе отца — Борхес пережил свой сексуальный дебют.

С. 142. *«Красные псалмы»* — книга юношеских стихов Борхеса, в те годы не изданная.

…лазурные стихи Дарио, серая песенка Верлена. — Имеются в виду главный сборник стихов Рубена Дарио «Лазурь» (1888) и выражение «серая песенка» (фразеологизм, означающий «под хмельком», как точно перевел Б. Пастернак) из программного верленовского стихотворения «Искусство поэзии» (1874).

С. 144. *«L'hydre-univers tordant son corps…»* — Из стихотворения В. Гюго «Сказанное устами тьмы» (сборник «Созерцания», 1856).

С. 146. *Симон Жиклинский* (1902–?) — одноклассник Борхеса, приятель его женевской юности, впоследствии — врач; его сын лечил Борхеса в последние месяцы жизни.

Ульрика

С. 149. *Ульрика* — имя юной возлюбленной 74-летнего Гёте, героини его «Мариенбадской элегии». Новелла посвящена соавтору Борхеса, спутнице его последних лет Марии Кодаме.

«Сага о Вёльсунгах» — памятник древнескандинавской словесности; взятые здесь эпиграфом слова выбиты теперь на обратной стороне надгробного камня, стоящего над могилой Борхеса.

Йорк — старинный городок в Англии, основан римлянами, завоевывался датчанами, саксами, норвежцами (в 1066 г. здесь были Тости и Харальд Суровый).

«Пять сестер» — оконница в северном трансепте Йоркского собора Святого Петра (Йорк-Минстере), создана в XIII в.

С. 151. *…вспомнил шутку Шопенгауэра…* — «…Вы любите гулять один, я — тоже, так пойдемте вместе» — «Мир как воля и представление» (II, 7. По поводу теории комического).

С. 152…*Де Куинси искал свою Анну…* — «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум», ч. II.

С. 153. *Попайян* — город на юго-западе Колумбии.

…воспитанницы Ибсена… — Героини норвежского драматурга борются за освобождение от патриархальной морали (ср. ту же характеристи-

ку Беатрис Фрост в новелле «Конгресс»).

С. 154. *Сигурд, Брюнхильда* — герои германо-скандинавского эпоса; в «Саге о Вёльсунгах» они, разлученные при жизни, соединяются лишь после смерти (таким образом, сновиденный колорит и закольцованный сюжет новеллы — не столько психологические, сколько мифологические).

Конгресс

Впервые новелла вышла отдельным изданием в 1971 г. Эпиграф из романа Д. Дидро приводит Шопенгауэр («Мир как воля и представление», II, 41).

С. 157. *…новый директор библиотеки…* — То есть сам Борхес, назначенный на этот пост после падения диктатуры Перона в 1955 г.

С. 162. *Марсело дель Масо* (1879–?) — аргентинский писатель, летописец Буэнос-Айреса и мира танго, близкий друг Э. Каррьего и знакомый юности Борхеса. Книга его прозы и стихов «Побежденные» упоминается в борхесовском эссе «Буэнос-Айрес в поэзии» (1926).

С. 165. *…на одной из огнедышащих страниц Карлейля…* — «Французская революция» («Конституция», I, 10).

Жан-Батист Клотц (1755–1794) — прусский

барон, деятель Великой французской революции, принял имя заглавного героя просветительской утопии Ж.-Ж. Бартелеми.

С. 166. *Нора Эрфьорд* — фамилия героини мелькала в новеллах «Тлён, Укбар, Орбис Терциус» и «Три версии предательства Иуды», имя косвенно отсылает к знаменитой драме Ибсена, а все вместе напрямую имеет в виду подругу и соратницу ультраистской юности Борхеса Нору Ланге (дочь дальней борхесовской родственницы Берты Эрфьорд, нередкой партнерши молодого Борхеса по шахматам).

С. 168. *Тапиа* — буэнос-айресский поножовщик конца XIX в.

С. 170. *…переплетенные в шелк тома…* — Автоцитата из рассказа «Сад расходящихся тропок» (из одноименного сборника).

С. 171. *…с дворцом в Агуас-Коррьентес.* — Имеется в виду дворец, выстроенный Уркисой, где однажды гостил один из предков Борхеса, сыгравший с диктатором в карты.

С. 174. *…львы у парадного в доме на улице Жужуй…* — Весь этот перечень памятных мест столицы уже фигурировал в новелле «Евангелие от Марка».

С. 176. *Томас Перси* (1729–1811) — английский

писатель, коллекционер и переводчик фольклора.

С. 180. *Хайме Лусиано Бальмес-и-Урпиа* (1810–1848) — испанский философ и богослов.

С. 183. *Александрийскую библиотеку подобает сжигать…* — Из пьесы Шоу «Цезарь и Клеопатра» (действие II).

С. 185. *Патрик Спенс* — «моряк из моряков» в старинной шотландской балладе из сборника Перси.

Я зла желаю, а несу добро. — Самохарактеристика Мефистофеля в «Фаусте» Гёте.

«There are more things»

Заглавие — слова Гамлета, обращенные к Горацио («Гамлет», I, 4).

С. 187. *Говард Филлипс Лавкрафт* (1890–1937) — американский прозаик, автор фантастических романов и новелл с элементами ужаса.

Арнетт — фамилия бабушки Борхеса по отцовской линии.

С помощью поданного на десерт апельсина… — Здесь и далее — воспоминания Борхеса об отце.

С. 188. *Личфилд* — городок в Шотландии, где родился С. Джонсон.

С. 189. *Мариани* — фамилия персонажа из романа Дж. Конрада «Лорд Джим», а также — друга

юности Борхеса, аргентинского писателя Роберто Мариани (1892–1946).

Секта тридцати

С. 199. *Ганс Лейзеганг* (1890–1951) — немецкий историк философии, исследователь гностицизма.

С. 200. *…«Предоставь мертвым…»* — Мф. 8: 22.

…«Взгляните на птиц небесных…» — Мф. 6: 26.

…«Если же траву полевую…» — Мф. 6: 30.

С. 201. *…«всякий, кто смотрит на женщину…»* — Мф. 5: 28.

С. 202. *Слово сделалось плотью…* — Ин. 1: 14.

С. 203. *Кериот* (Кириаф Иарим) — селение к западу от Иерусалима, место рождения Иуды.

Зеркало и маска

С. 214. *Клонтарф* — старинный город в Ирландии, где в 1014 г. ирландцы разбили отряды викингов, отвоевав свою независимость.

Оллам — поэт у кельтов.

Ольстер — северо-восточная провинция средневековой Ирландии, *Мунстер* — юго-западная.

Ундр

С. 221. *Адам Бременский* (? — после 1081) — северонемецкий хронист.

Иоганн Мартин Лаппенберг (1794–1865) — исто-

рик немецкой словесности.

С. 223. *Сигурдарсон* и далее: *Бьярни Торкельсон* и др. — скандинавские имена, известные по сагам, вошедшим в «Хеймскринглу» Снорри Стурлусона.

Орм — имя, встречающееся в «Хеймс-кринглe», но, кроме того, отсылающее к автору староанглийской поэмы «Ормулум» (ок. 1200), монаху из древнего английского королевства Мерсия.

Гуннлауг (984 или 987–1009 или 1012) — знаменитый исландский скальд по прозвищу Змеиный Язык.

С. 224. *Драпа* — импровизированная песня.

Утопия уставшего

С. 230. *Эмилио Орибе* (1893–1975) — уругвайский поэт и философ.

С. 231. *Лемозин* — провансальский язык; *папьяменто* — диалект острова Кюрасао, негро-португальское наречие с элементами голландского и испанского.

С. 236. *Баия-Бланка* — город-порт в Аргентине.

Искушение

С. 243. *Рамон Мартинес Лопес* — американский филолог-испанист.

С. 244. *Джон Эльфинстон* — английский биб-

лиотекарь, переписавший поэму «Битва при Мэлдоне» за несколько лет до пожара в 1731 г., уничтожившего оригинал.

С. 245. *…заместившего клеберовское.* — Фридрих Клебер (1863–?) — американский историк древнеанглийской литературы.

С. 248. *Рудольф Майснер* (1863–1948) — немецкий исследователь скандинавской культуры, его книга о кёнингах скальдов вышла в 1921 г.

Терта Маркуардт — профессор университета в Халле, ее книга о кёнингах в древнеанглийской поэзии опубликована в 1938 г.

С. 250. *Генри Уэйджер Халлек* (1845–1872) — американский военный и историк.

Авелино Арредондо

Иван Альмейда сопоставляет эту новеллу с рассказом «Ожидание» (в сборнике «Алеф»).

С. 256. *Винтен* — уругвайская медная монета.

С. 260. *Хуан Идиарте Борда* (1844–1897) — уругвайский политический деятель, с 1894 г. президент страны, убит Авелино Арредондо.

Книга Песка

С. 267. *Джордж Херберт* (1593–1623) — английский барочный поэт, цитируется его стихотворение «Ярмо».

Линия состоит из множества точек… — Автоцитата из заметки «Краткий обзор теорий Эйнштейна» в журнале «Очаг» (14 октября 1938 г.).

С. 268. *Оркнейские* (Оркадские) *острова* — архипелаг у северной оконечности Шотландии, нередко упоминается в скандинавских сагах.

Вульгата — принятое с XIII в. название латинского перевода Библии, выполненного св. Иеронимом.

С. 271. *Пресвитерианец* — сторонник Протестантской церкви кальвинистской ориентации, они начали появляться в Шотландии и Англии со второй половины XVI в.

С. 274. *…лист лучше всего прятать в лесу.* — Цитата из рассказа Честертона «Сломанная шпага».

Послесловие

С. 275. *…разрабатывало… перо Стивенсона.* — В позднейшем предисловии к книге Стивенсона в своей «Личной библиотеке» Борхес перечисляет стивенсоновские произведения о двойниках: пьесу «Декан Броуди», повести «Маркхейм» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», балладу «Тикондерога».

С. 277. *Джон Фельтон* (?–1628) — английский морской офицер, убил герцога Бэкингема, в котором видел тирана; известен по роману А. Дюма

«Три мушкетера».

С. 278. *…одна из улиц Монтевидео носит его имя.* — Как указывает И. Альмейда, улица носит имя Орасио Арредондо. Этот уругвайский историк, работая вместе с архитекторами, отдал много сил реконструкции памятников уругвайской столицы.

ПАМЯТЬ ШЕКСПИРА

Впервые новелла опубликована в буэнос-айресской газете «Кларин» в 1980 г.

С. 281. *Зёргель.* — Эта фамилия известного немецкого литературного критика, историка литературы встречалась в новелле «Deutsches Requiem» (в сборнике «Алеф), герой-рассказчик которой фанатически поклоняется Шекспиру.

Льюис Теобальд (1688–1744) — английский драматург, издатель семитомного собрания сочинений Шекспира (1733), задуманного как критика издания, предпринятого Александром Поупом. За это Поуп издевательски высмеял Теобальда в своей поэме «Дунсиада».

С. 283. *…у Чосера тоже есть история о чудесном перстне…* — «Кентерберийские рассказы» («Рассказ сквайра»).

С. 285. *Имя солдата…* — Клэй (*англ.* clay) озна-

чает «глина» и отсылает к ветхозаветному первочеловеку Адаму, сотворенному из красной глины.

С. 289. *Джон Гауэр* (ок. 1330–1408) — английский поэт, друг Чосера, автор поэмы «Исповедь влюбленного» (1390). Кроме английского языка, писал на французском и латыни, что, впрочем, было в ту эпоху не редкостью.

Джон (Джованни) Флорио (ок. 1553–1625) — английский литератор, выходец из Италии, перевел на английский «Опыты» Монтеня (1603).

Томас Норт (1535–1601) — английский литератор, переводчик «Жизнеописаний» Плутарха (1579).

С. 290. *…разгрому Непобедимой армады.* — Поражение испанского королевского флота, нанесенное ему англичанами в 1588 г.

…этот тезис еще в 1899 году выдвинул Сэмюэл Батлер. — Речь идет о предисловии Батлера к переизданию шекспировских сонетов.

С. 291. *…ondoyant et divers…* — Цитата из «Опытов» Монтеня (гл. XXVIII, «О дружбе»).

С. 292. *…«absence dans I'infini»…* — Из трактата Гюго «Вильям Шекспир» (1864).

«My way of life…» — «Макбет», V, 3.

С. 295. *«Simply the thing I am shall make me live».* — «Конец — делу венец», IV, 3.

Б. Дубин